
Иван
ТУРГЕНЕВ
Записки охотника

- Иван Сергеевич Тургенев
  - Сельцо Овечьи Воды, 20 марта 18... года.
  - 21 марта
  - 22 марта
  - 23 марта
  - 24 марта. Трескучий мороз
  - 25 марта. Белый зимний день
  - 26 марта. Оттепель
  - 27 марта. Оттепель продолжается
  - 29 марта. Легкий мороз; вчера была оттепель
  - 30 марта. Мороз
  - 31 марта
  - 1 апреля
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5

Иван Сергеевич Тургенев
Дневник лишнего человека

Сельцо Овечьи Воды, 20 марта 18... года.

Доктор сейчас уехал от меня. Наконец добился я толку! Как он ни хитрил, а не мог не высказаться наконец. Да, я скоро, очень скоро умру. Реки вскроются, и я с последним снегом, вероятно, уплыву... куда? бог весть! Тоже в море. Ну, что ж! коли умирать, так умирать весной. Но не смешно ли начинать свой дневник, может быть, за две недели до смерти? Что за беда? И чем четырнадцать дней менее четырнадцати лет, четырнадцати столетий? Перед вечностью, говорят, всё пустяки – да; но в таком случае и сама вечность – пустяки. Я, кажется, вдаюсь в умозрение: это плохой знак – уж не трушу ли я? Лучше стану рассказывать что-нибудь. На дворе сыро, ветрено, – выходить мне запрещено. Что же рассказывать? О своих болезнях порядочный человек не говорит; повесть, что ли, сочинить – не мое дело; рассуждения о предметах возвышенных – мне не под силу; описания окружающего меня быта – даже меня занять не могут; а ничего не делать – скучно; читать – лень. Э! расскажу-ка я самому себе всю свою жизнь. Превосходная мысль! Перед смертью оно и прилично и никому не обидно. Начинаю.

Родился я лет тридцать тому назад от довольно богатых помещиков. Отец мой был страстный игрок; мать моя была дама с характером... очень добродетельная дама. Только я не знавал женщины, которой бы добродетель доставила меньше удовольствия. Она падала под бременем своих достоинств и мучила всех, начиная с самой себя. В течение пятидесяти лет своей жизни она ни разу не отдохнула, не сложила рук; она вечно копошилась и возилась, как муравей, – и без всякой пользы, чего нельзя сказать о муравье. Неугомонный червь ее точил днем и ночью. Один только раз видел я ее совершенно спокойной, а именно: в первый день после ее смерти, в гробу. Глядя на нее, мне, право, показалось, что ее лицо выражало тихое изумление; с полураскрытых губ, с опавших щек и кротко-неподвижных глаз словно веяло словами: «Как хорошо не шевелиться!» Да, хорошо, хорошо отделаться наконец от томящего

сознания жизни, от неотвязного и беспокойного чувства существования! Но дело не в том.

Рос я дурно и невесело. Отец и мать оба меня любили, но от этого мне не было легче. Отец не имел в собственном доме никакой власти и никакого значения как человек, явно преданный постыдному и разорительному пороку; он сознавал свое падение и, не имея силы отстать от любимой страсти, старался по крайней мере своим постоянно ласковым и скромным видом, своим уклончивым смирением заслужить снисхождение своей примерной жены. Мамонька моя действительно переносила свое несчастие с тем великолепным и пышным долготерпением добродетели, в котором так много самолюбивой гордости. Она никогда ни в чем отца моего не упрекала, молча отдавала ему свои последние деньги и платила его долги; он превозносил ее в глаза и заочно, но дома сидеть не любил и ласкал меня украдкой, как бы сам боясь заразить меня своим присутствием. Но искаженные черты его дышали тогда такой добротой, лихорадочная усмешка на его губах сменялась такой трогательной улыбкой, окруженные тонкими морщинами карие глаза светились такою любовью, что я невольно прижимался моей щекой к его щеке, сырой и теплой от слез. Я утирал моим платком эти слезы, и они снова текли, без усилия, словно вода из переполненного стакана. Я принимался плакать сам, и он утешал меня, гладил меня рукой по спине, целовал меня по всему лицу своими дрожащими губами. Даже вот и теперь, с лишком двадцать лет после его смерти, когда я вспоминаю о бедном моем отце, немые рыдания подступают мне под горло и сердце бьется, бьется так горячо и горько, томится таким тоскливым сожалением, как будто ему еще долго осталось биться и есть о чем сожалеть!

Мать моя, напротив, обращалась со мной всегда одинаково, ласково, но холодно. В детских книгах часто встречаются такие матери, нравоучительные и справедливые. Она меня любила; но я ее не любил. Да! я чуждался моей добродетельной матери и страстно любил моего порочного отца.

Но для сегодняшнего дня довольно. Начало есть, а уж о конце, какой бы он ни был, мне нечего заботиться. Это дело моей болезни.

21 марта

Сегодня удивительная погода. Тепло, ясно; солнце весело играет на талом снеге; все блестит, дымится, каплет; воробьи, как сумасшедшие, кричат около отпотевших темных заборов; влажный воздух сладко и страшно раздражает мне грудь. Весна, весна идет! Я сижу под окном и гляжу через речку в поле. О природа! природа! Я так тебя люблю, а из твоих недр вышел неспособным даже к жизни. Вон прыгает самец воробей с растопыренными крыльями; он кричит – и каждый звук его голоса, каждое взъерошенное перышко на его маленьком теле дышит здоровьем и силой...

Что ж из этого следует? Ничего. Он здоров и имеет право кричать и ерошиться; а я болен и должен умереть – вот и все. Больше об этом говорить не стоит. А слезливые обращения к природе уморительно смешны. Возвратимся к рассказу.

Рос я, как уже сказано, очень дурно и невесело. Братьев и сестер у меня не было. Воспитывался я дома. Да и чем бы стала заниматься моя матушка, если б меня отдали в пансион или в казенное заведение? На то и дети, чтоб родители не скучали. Жили мы большей частью в деревне, иногда приезжали в Москву. Были у меня гувернеры и учителя, как водится; особенно памятным остался мне один худосочный и слезливый немец, Рикман, необыкновенно печальное и судьбою пришибенное существо, бесплодно сгоравшее томительной тоской по далекой родине. Бывало, возле печки, в страшной духоте тесной передней, насквозь пропитанной кислым запахом старого кваса, сидит небритый мой дядька Василий, по прозвищу Гусыня, в вековечном своем казакине из синей дерюги, – сидит и играет в свои козыри с кучером Потапом, только что обновившим белый, как кипень, овчинный тулуп и несокрушимые смазные сапоги, – а Рикман за перегородкой поет:

Herz, mein Herz, warum so traurig?
Was bekümmert dich so sehr?
S’ist ja schön im fremden Lande —

Herz, mein Herz, – was willst du mehr?[1]

После смерти отца мы окончательно перебрались на житье в Москву. Мне было тогда двенадцать лет. Отец мой умер ночью, от удара. Не забуду я этой ночи. Я спал крепко, как обыкновенно спят все дети; но, помню, мне даже сквозь сон чудилось тяжелое и мерное храпенье. Вдруг я чувствую: кто-то меня берет за плечо и толкает. Открываю глаза: передо мной дядька. «Что такое?..» – «Ступайте, ступайте, Алексей Михайлыч кончается...» Я, как сумасшедший, из постели вон – в спальню. Гляжу: отец лежит с закинутой назад головой, весь красный, и мучительно хрипит. В дверях толпятся люди с перепуганными лицами; в передней кто-то сиплым голосом спрашивает: «Послали за доктором?» На дворе лошадь выводят из конюшни, ворота скрипят, сальная свечка горит в комнате на полу; маменька тут же убивается, не теряя, впрочем, ни приличия, ни сознания собственного достоинства. Я бросился на грудь отцу, обнял его, залепетал: «Папаша, папаша...» Он лежал неподвижно и как-то странно щурился. Я взглянул ему в лицо – невыносимый ужас захватил мне дыхание; я запищал от страха, как грубо схваченная птичка, – меня стащили и отвели. Еще накануне он, словно предчувствуя свою близкую смерть, так горячо и так уныло ласкал меня. Привезли какого-то заспанного и шершавого доктора, с крепким запахом зорной водки. Отец мой умер у него под ланцетом, и на другой же день я, совершенно поглупевший от горя, стоял со свечкою в руках перед столом, на котором лежал покойник, и бессмысленно слушал густой напев дьячка, изредка прерываемый слабым голосом священника; слезы то и дело струились у меня по щекам, по губам, по воротничку, по манишке; я исходил слезами, я глядел неотступно, я внимательно глядел на неподвижное лицо отца, словно ждал от него чего-то; а матушка моя между тем медленно клала земные поклоны, медленно подымалась и, крестясь, сильно прижимала пальцы ко лбу, к плечам и животу. Ни одной мысли у меня не было в голове; я весь отяжелел, но чувствовал, что со мною совершается что-то страшное... Смерть мне тогда заглянула в лицо и заметила меня.

Мы переехали в Москву на житье после смерти отца по весьма простой причине: все наше имение было продано с молотка за долги –

так-таки решительно все, исключая одной деревушки, той самой, в которой я теперь вот доживаю свое великолепное существование. Я, признаюсь, даром что был тогда молод, а погрустил о продаже нашего гнезда; то есть по-настоящему я грустил только об одном нашем саде. С этим садом связаны почти единственные мои светлые воспоминания; там я в один тихий весенний вечер похоронил лучшего своего друга, старую собаку с куцым хвостом и кривыми лапками – Триксу; там, бывало, спрятавшись в высокую траву, я ел краденые яблоки, красные, сладкие новогородчины; там наконец я в первый раз увидал между кустами спелой малины горничную Клавдию, которая, несмотря на свой курносый нос и привычку смеяться в платок, возбудила во мне такую нежную страсть, что я в присутствии ее едва дышал, замирал и безмолвствовал, а однажды, в светлое воскресение, когда дошла до нее очередь приложиться к моей барской ручке, чуть не бросился целовать ее стоптанные козловые башмаки. Боже мой! Неужели ж этому всему двадцать лет? Кажется, давно ли еду я на моей рыженькой косматой лошадке вдоль старого плетня нашего сада и, приподнявшись на стременах, срываю двухцветные листья тополей? Пока человек живет, он не чувствует своей собственной жизни: она, как звук, становится ему внятною спустя несколько времени.

О мой сад, о заросшие дорожки возле мелкого пруда! о песчаное местечко под дряхлой плотиной, где я ловил пескарей и гольцов! и вы, высокие березы, с длинными висячими ветками, из-за которых с проселочной дороги, бывало, неслась унылая песенка мужика, неровно прерываемая толчками телеги, – я посылаю вам мое последнее прости!.. Расставаясь с жизнью, я к вам одним простираю мои руки. Я бы хотел еще раз надышаться горькой свежестью полыни, сладким запахом сжатой гречихи на полях моей родины; я бы хотел еще раз услышать издали скромное тяканье надтреснутого колокола в приходской нашей церкви; еще раз полежать в прохладной тени под дубовым кустом на скате знакомого оврага; еще раз проводить глазами подвижный след ветра, темной струею бегущего по золотистой траве нашего луга...

Эх, к чему все это? Но я сегодня не могу продолжать. До завтра.

22 марта

Сегодня опять холодно и пасмурно. Такая погода гораздо приличнее. Она под лад моей работе. Вчерашний день совершенно некстати возбудил во мне множество ненужных чувств и воспоминаний. Это более не повторится. Чувствительные излияния – словно солодковый корень: сперва пососешь – как будто недурно, а потом очень скверно станет во рту. Стану просто и спокойно рассказывать мою жизнь.

Итак, мы переехали в Москву...

Но мне приходит в голову: точно ли стоит рассказывать мою жизнь?

Нет, решительно не стоит... Жизнь моя ничем не отличалась от жизни множества других людей. Родительский дом, университет, служение в низменных чинах, отставка, маленький кружок знакомых, чистенькая бедность, скромные удовольствия, смиренные занятия, умеренные желания – скажите на милость, кому не известно все это? И потому я не стану рассказывать свою жизнь, тем более что пишу для собственного удовольствия; а коли мое прошедшее даже мне самому не представляет ничего ни слишком веселого, ни даже слишком печального, стало быть, в нем точно нет ничего достойного внимания. Лучше постараюсь изложить самому себе свой характер.

Что я за человек?.. Мне могут заметить, что и этого никто не спрашивает, – согласен. Но ведь я умираю, ей-богу умираю, а перед смертью, право, кажется, простительно желание узнать, что, дескать, я был за птица?

Обдумав хорошенько этот важный вопрос и не имея, впрочем, никакой нужды слишком горько выражаться на свой собственный счет, как это делают люди, сильно уверенные в своих достоинствах, я должен сознаться в одном: я был совершенно лишним человеком на сем свете или, пожалуй, совершенно лишней птицей. И это я намерен доказать завтра, потому что я сегодня кашляю, как старая овца, и моя нянюшка, Терентьевна, не дает мне покоя: «Лягте, дескать, батюшка вы мой, да напейтесь чайку...» Я знаю, зачем она ко мне пристает: ей самой хочется чаю. Что ж! пожалуй! Отчего не позволить бедной

старухе извлечь напоследях всю возможную пользу из своего барина?.. Пока еще время не ушло.

23 марта

Опять зима. Снег валит хлопьями.

Лишний, лишний... Отличное это придумал я слово. Чем глубже я вникаю в самого себя, чем внимательнее рассматриваю всю свою прошедшую жизнь, тем более убеждаюсь в строгой истине этого выраженья. Лишний – именно. К другим людям это слово не применяется... Люди бывают злые, добрые, умные, глупые, приятные и неприятные; но лишние... нет. То есть поймите меня: и без этих людей могла бы вселенная обойтись... конечно; но бесполезность – не главное их качество, не отличительный их признак, и вам, когда вы говорите о них, слово «лишний» не первое приходит на язык. А я... про меня ничего другого и сказать нельзя: лишний – да и только. Сверхштатный человек – вот и все. На мое появление природа, очевидно, не рассчитывала и вследствие этого обошлась со мной, как с нежданным и незваным гостем. Недаром про меня сказал один шутник, большой охотник до преферанса, что моя матушка мною обремизилась. Я говорю теперь о самом себе спокойно, без всякой желчи... Дело прошлое! Во все продолжение жизни я постоянно находил свое место занятым, может быть, оттого, что искал это место не там, где бы следовало. Я был мнителен, застенчив, раздражителен, как все больные; притом, вероятно по причине излишнего самолюбия или вообще вследствие неудачного устройства моей особы, между моими чувствами и мыслями – и выражением этих чувств и мыслей – находилось какое-то бессмысленное, непонятное и непреоборимое препятствие; и когда я решался насильно победить это препятствие, сломить эту преграду – мои движения, выражение моего лица, все мое существо принимало вид мучительного напряжения: я не только казался – я действительно становился неестественным и натянутым. Я сам это чувствовал и спешил опять уйти в себя. Тогда-то поднималась внутри меня страшная тревога. Я разбирал самого себя до последней ниточки, сравнивал себя с другими, припоминал малейшие взгляды, улыбки, слова людей, перед которыми хотел было развернуться, толковал все в дурную сторону, язвительно смеялся над своим притязанием «быть, как все», – и вдруг, среди смеха, печально

опускался весь, впадал в нелепое уныние, а там опять принимался за прежнее, – словом, вертелся, как белка в колесе. Целые дни проходили в этой мучительной, бесплодной работе. Ну, теперь скажите на милость, скажите сами, кому и на что такой человек нужен? Отчего это со мной происходило, какая причина этой кропотливой возни с самим собою – кто знает? кто скажет?

Помнится, однажды ехал я из Москвы в дилижансе. Дорога была хороша, а ямщик к четверке рядом припрег еще пристяжную. Эта несчастная, пятая, вовсе бесполезная лошадь, кое-как привязанная к передку толстой короткой веревкой, которая немилосердно режет ей ляжку, трет хвост, заставляет ее бежать самым неестественным образом и придает всему ее телу вид запятой, всегда возбуждает мое глубокое сожаление. Я заметил ямщику, что, кажется, можно было на сей раз обойтись без пятой лошади... Он помолчал, тряхнул затылком, стегнул ее взатяжку раз десяток кнутом через худую спину под раздутый живот – и не без усмешки промолвил: «Ведь вишь, в самом деле, приплелась! На кой черт?»

И я вот так же приплелся... Да, благо, станция недалеко.

Лишний... Я обещался доказать справедливость моего мнения и исполню свое обещание. Не считаю нужным упоминать о тысяче мелочей, ежедневных происшествий и случаев, которые, впрочем, в глазах всякого мыслящего человека могли бы послужить неопровержимыми доказательствами в мою пользу, то есть в пользу моего воззрения; лучше начну прямо с одного довольно важного случая, после которого, вероятно, уже не останется никакого сомнения насчет точности слова: лишний. Повторяю: я не намерен вдаваться в подробности, но не могу пройти молчанием одно довольно любопытное и замечательное обстоятельство, а именно: странное обращение со мной моих приятелей (у меня тоже были приятели) всякий раз, когда я им попадался навстречу или даже к ним заходил. Им становилось словно неловко; они, идя мне навстречу, как-то не совсем естественно улыбались, глядели мне не в глаза, не на ноги, как иные это делают, а больше в щеки, торопливо пожимали мне руку, торопливо произносили: «А! здравствуй, Чулкатурин!» (меня судьба одолжила таким прозванием) или: «А, вот и Чулкатурин», тотчас отходили в сторону и даже некоторое время оставались потом неподвижными, словно силились что-то припомнить. Я все это

замечал, потому что не лишен проницательности и дара наблюдения; я вообще неглуп; мне даже иногда в голову приходят мысли, довольно забавные, не совсем обыкновенные; но так как я человек лишний и с замочком внутри, то мне и жутко высказать свою мысль, тем более что я наперед знаю, что я ее прескверно выскажу. Мне даже иногда странным кажется, как это люди говорят, и так просто, свободно... Экая прыть, подумаешь. То есть, признаться сказать, и у меня, несмотря на мой замочек, частенько чесался язык; но действительно произносил слова я только в молодости, а в более зрелые лета почти всякий раз мне удавалось переломить себя. Скажу, бывало, вполголоса: «А вот мы лучше немножко помолчим», и успокоюсь. На молчание-то мы все горазды; особенно наши женщины этим взяли: иная возвышенная русская девица так могущественно молчит, что даже в подготовленном человеке подобное зрелище способно произвести легкую дрожь и холодный пот. Но дело не в том, и не мне критиковать других. Приступаю к обещанному рассказу.

Несколько лет тому назад, благодаря стечению весьма ничтожных, но для меня очень важных обстоятельств, пришлось мне провести месяцев шесть в уездном городе О... Город этот весь выстроен на косогоре, и очень неудобно выстроен. Жителей в нем считается около восьмисот, бедности необыкновенной, домишки совершенно ни на что не похожи, на главной улице, под предлогом мостовой, изредка белеют грозные плиты неотесанного известняка, вследствие чего ее объезжают даже телеги; по самой середине изумительно неопрятной площади возвышается крошечное желтоватое строение с темными дирами, а в дирах сидят люди в больших картузах и притворяются, будто торгуют; тут же торчит необыкновенно высокий пестрый шест, а возле шеста, для порядка, по приказу начальства, держится воз желтого сена и ходит одна казенная курица. Словом, в городе О... житье хоть куда. В первые дни моего пребывания в этом городе я чуть с ума не сошел от скуки. Я должен сказать о себе, что я хотя, конечно, и лишний человек, но не по собственной охоте; я сам болен, а все больное терпеть не могу... Я и от счастья бы не прочь, я даже старался подойти к нему и справа и слева... И потому не удивительно, что и я могу скучать, как всякий другой смертный. Я находился в городе О... по служебным делам...

Терентьевна решительно поклялась уморить меня. Вот образчик нашего разговора:

Терентьевна. О-ох, батюшка! что вы это все пишете? вам нездорово писать-то.

Я. Да скучно, Терентьевна!

Она. А вы напейтесь чайку да лягте. Бог даст, вспотеете, соснете маненько.

Я. Да я не хочу спать.

Она. Ах, батюшка! что вы это? Господь с вами! Лягте-ка, лягте: оно лучше.

Я. Я и без того умру, Терентьевна!

Она. Сохрани господь и помилуй... Что ж, прикажете чайку?

Я. Я недели не проживу, Терентьевна!

Она. И-и, батюшка! что вы это?.. Так я пойду самоварчик поставлю.

О дряхлое, желтое, беззубое существо! Неужели и для тебя я не человек!

24 марта. Трескучий мороз

В самый день моего прибытия в город О... вышеупомянутые служебные дела заставили меня сходить к некоему Ожогину, Кирилле Матвеевичу, одному из главных чиновников уезда; но познакомился я с ним, или, как говорится, сблизился, спустя две недели. Дом его находился на главной улице и отличался от всех других величиной, крашеной крышей и двумя львами на воротах, из той породы львов, необыкновенно похожих на неудавшихся собак, родина которым Москва. По одним уже этим львам можно было заключить, что Ожогин человек с достатком. И действительно: у него было душ четыреста крестьян; он принимал у себя все лучшее общество города О... и слыл хлебосолом. К нему ездил и городничий на широких рыжих дрожках парой, необыкновенно крупный, словно из залежалого материала скроенный человек; ездили прочие чиновники: стряпчий, желтенькое и злобненькое существо; остряк землемер – немецкого происхождения, с татарским лицом; офицер путей сообщения – нежная душа, певец, но сплетник; бывший уездный предводитель – господин с крашеными волосами, взбитой манишкой, панталонами в обтяжку и тем благороднейшим выражением лица, которое так свойственно людям, побывавшим под судом; ездили также два помещика, друзья неразлучные, оба уже немолодые и даже потертые, из которых младший постоянно уничтожал старшего и зажимал ему рот одним и тем же упреком: «Да полноте, Сергей Сергеич; куда вам? Ведь вы слово: пробка – пишете с буки. Да, господа, – продолжал он со всем жаром убеждения, обращаясь к присутствующим, – Сергей Сергеич пишет не пробка, а бробка». И все присутствующие смеялись, хотя, вероятно, ни один из них не отличался особенным искусством в правописании; а несчастный Сергей Сергеич умолкал и с замирающей улыбкой преклонял голову. Но я забываю, что мое время рассчитано, и вдаюсь в слишком подробные описания. Итак, без дальних околичностей: Ожогин был женат, у него была дочь, Елизавета Кирилловна, и я в эту дочь влюбился.

Сам Ожогин был человек дюжинный, не дурной и не хороший; жена его сбивалась на застарелого цыпленка; но дочь их вышла не в

своих родителей. Она была очень недурна собой, живого и кроткого нрава. Ее серые, светлые глаза глядели добродушно и прямо из-под ребячески приподнятых бровей; она почти постоянно улыбалась и смеялась тоже довольно часто. Свежий голос ее звучал очень приятно; двигалась она вольно, быстро – и весело краснела. Одевалась она не слишком изящно; к ней шли одни простые платья. Я вообще не скоро знакомился, и если мне с кем-нибудь было с первого раза легко – что, впрочем, почти никогда не случалось, – это, признаюсь, сильно говорило в пользу нового знакомого. С женщинами же я вовсе не умел обращаться и в присутствии их либо хмурился и принимал свирепый вид, либо глупейшим образом скалил зубы и от замешательства вертел языком во рту. С Елизаветой Кирилловной, напротив, я с первого же раза почувствовал себя дома. Вот каким образом это случилось. Прихожу я однажды перед обедом к Ожогину, спрашиваю: «Дома?» Говорят: «Дома, одеваются; пожалуйте в залу». Я в залу; смотрю, у окна стоит, ко мне спиной, девица в белом платье и держит в руках клетку. Меня, по обыкновению, слегка покоробило; однако я ничего, только кашлянул для приличия. Девица быстро обернулась, так быстро, что локоны ее ударили ей в лицо, увидела меня, поклонилась и с улыбкой показала мне ящичек, до половины наполненный зернами. «Вы позволите?» Я, разумеется, как водится в таких случаях, сперва наклонил голову и в то же время быстро согнул и выпрямил колени (словно кто ударил меня сзади в поджилки), что, как известно, служит признаком отличного воспитания и приятной развязности в обхождении, а потом улыбнулся, поднял руку и раза два осторожно и мягко провел ею по воздуху. Девица тотчас отвернулась от меня, вынула из клетки дощечку, начала сильно скрести по ней ножом и вдруг, не переменяя положения, произнесла следующие слова: «Это папенькин снегирь... Вы любите снегирей?» – «Я предпочитаю чижей», – отвечал я не без некоторого усилия. «А! Я тоже люблю чижей; но посмотрите на него, какой он хорошенький. Посмотрите, он не боится. (Меня удивляло то, что я не боялся.) Подойдите. Его зовут Попка». Я подошел, нагнулся. «Не правда ли, какой он милый?» Она обернулась ко мне лицом; но мы так близко стояли друг к другу, что ей пришлось немного откинуть голову, чтобы взглянуть на меня своими светлыми глазками. Я посмотрел на нее: все ее молодое, розовое лицо так дружелюбно улыбалось, что и я улыбнулся и чуть не засмеялся от

удовольствия. Дверь растворилась: вошел господин Ожогин. Я тотчас подошел к нему, заговорил с ним очень непринужденно, сам не знаю как остался обедать, высидел весь вечер; а на другой день лакей Ожогина, длинноватый и подслеповатый человек, уже улыбался мне, как другу дома, стаскивая с меня шинель.

Найти приют, свить себе хотя временное гнездо, знать отраду ежедневных отношений и привычек – этого счастия я, лишний, без семейных воспоминаний человек, до тех пор не испытал. Если б во мне хоть что-нибудь напоминало цветок и если б это сравнение не было так избито, я бы решился сказать, что я с того дня расцвел душою. Все во мне и вокруг меня так мгновенно переменилось! Вся жизнь моя озарилась любовью, именно вся, до самых мелочей, словно темная, заброшенная комната, в которую внесли свечку. Я ложился спать и вставал, одевался, завтракал, трубку курил – иначе, чем прежде; я даже на ходу подпрыгивал – право, словно крылья вдруг выросли у меня за плечами. Я, помнится, ни минуты не находился в неизвестности насчет чувства, внушенного мне Елизаветой Кирилловной: я с первого дня влюбился в нее страстно и с первого же дня знал, что влюбился. В течение трех недель я каждый день ее видел. Эти три недели были счастливейшим временем в моей жизни; но воспоминание о них мне тягостно. Я не могу думать о них одних: мне невольно представляется то, что последовало за ними, и ядовитая горечь медлительно охватит только что разнежившееся сердце.

Когда человеку очень хорошо, мозг его, как известно, весьма мало действует. Спокойное и радостное чувство, чувство удовлетворения, проникает все его существо; он поглощен им; сознание личности в нем исчезает – он блаженствует, как говорят дурно воспитанные поэты. Но когда наконец минует это «очарование», человеку иногда становится досадно и жаль, что он посреди счастия так мало наблюдал за самим собою, что он размышлением, воспоминанием не удвоивал, не продолжал своих наслаждений... как будто «блаженствующему» человеку есть когда, да и стоит размышлять о своих чувствах! Счастливый человек – что муха на солнце. Оттого-то и мне, когда я вспоминаю об этих трех неделях, почти невозможно удержать в уме точное, определенное впечатление, тем более что в течение всего этого времени ничего особенно замечательного не произошло между нами... Эти двадцать дней являются мне чем-то теплым, молодым и пахучим,

какой-то светлой полосою в моей тусклой и серенькой жизни. Память моя становится вдруг неумолимо верна и ясна только с того мгновения, когда на меня, говоря словами тех же дурно воспитанных сочинителей, обрушились удары судьбы.

Да, эти три недели... Впрочем, они не то чтобы не оставили во мне никаких образов. Иногда, когда мне случается долго думать о том времени, иные воспоминания внезапно выплывают из мрака прошедшего – вот как звезды неожиданно выступают на вечернем небе навстречу внимательно устремленным глазам. Особенно памятной осталась мне одна прогулка в роще за городом. Нас было четверо: старуха Ожогина, Лиза, я и некто Бизьмёнков, мелкий чиновник города О..., белокуренький, добренький и смирненький человек. Мне еще о нем придется поговорить. Сам г. Ожогин остался дома: у него от слишком продолжительного сна голова разболелась. День был чудесный, теплый и тихий. Должно заметить, что увеселительные сады и общественные гулянья не в духе русского человека. В губернских городах, в так называемых публичных садах, вы ни в какое время года не встретите живой души; разве какая-нибудь старуха, кряхтя, присядет на пропеченную солнцем зеленую скамейку, в соседстве больного деревца, да и то коли поблизости нет засаленной лавочки у подворотни. Но если в соседстве города находится жиденькая березовая рощица, купцы, а иногда и чиновники, по воскресным и праздничным дням, охотно туда ездят с самоварами, пирогами, арбузами, становят всю эту благодать на пыльную траву возле самой дороги, садятся кругом и кушают и чайничают в поте лица до самого вечера. Именно такого рода рощица существовала тогда в двух верстах от города О... Мы приехали туда после обеда, напились как следует чаю и потом все четверо отправились походить по роще. Бизьмёнков взял под руку старуху Ожогину, я – Лизу. День уже склонялся к вечеру. Я находился тогда в самом разгаре первой любви (не более двух недель прошло со времени нашего знакомства), в том состоянии страстного и внимательного обожания, когда вся ваша душа невинно и невольно следит за каждым движением любимого существа, когда вы не можете насытиться его присутствием, наслушаться его голоса, когда вы улыбаетесь и смотрите выздоровевшим ребенком, и несколько опытный человек на сто шагов с первого взгляда должен узнать, что с вами происходит. Мне до того дня еще ни разу не

случалось держать Лизу под руку. Мы шли с ней рядом, тихо выступая по зеленой траве. Легкий ветерок словно порхал вокруг нас, между белыми стволами берез, изредка бросая мне в лицо ленту ее шляпки. Я неотступно следил за ее взором, пока она наконец весело не обращалась ко мне, и мы оба улыбались друг другу. Птицы одобрительно чирикали над нами, голубое небо ласково сквозило сквозь мелкую листву. Голова моя кружилась от избытка удовольствия. Спешу заметить: Лиза нисколько не была в меня влюблена. Я ей нравился; она вообще никого не дичилась, но не мне было суждено возмутить ее детское спокойствие. Она шла под руку со мной, как бы с братом. Ей было тогда семнадцать лет... И, между тем в тот самый вечер, при мне, началось в ней то внутреннее, тихое брожение, которое предшествует превращению ребенка в женщину... Я был свидетелем этой перемены всего существа, этого невинного недоумения, этой тревожной задумчивости; я первый подметил эту внезапную мягкость взора, эту звенящую неверность голоса – и, о глупец! о лишний человек! в течение целой недели я не устыдился предполагать, что я, *я* был причиной этой перемены.

Вот каким образом это случилось.

Мы гуляли довольно долго, до самого вечера, и мало разговаривали. Я молчал, как все неопытные любовники, а ей, вероятно, нечего было мне сказать; но она словно о чем-то размышляла и как-то особенно покачивала головой, задумчиво кусая сорванный лист. Иногда она принималась идти вперед, так решительно... а потом вдруг останавливалась, ждала меня и оглядывалась кругом с приподнятыми бровями и рассеянной усмешкой. Накануне мы с ней вместе прочли «Кавказского пленника». С какой жадностью она меня слушала, опершись лицом на обе руки и прислонясь грудью к столу! Я было заговорил о вчерашнем чтении; она покраснела, спросила меня, дал ли я перед отъездом снегирю конопляного семени, громко запела какую-то песенку и вдруг замолчала. Роща с одной стороны кончалась довольно высоким и крутым обрывом; внизу текла извилистая речка, а за ней на необозримое пространство тянулись, то слегка вздымаясь как волны, то широко расстилаясь скатертью, бесконечные луга, кой-где перерезанные оврагами. Мы с Лизой первые вышли на край рощи; Бизьмёнков остался позади с старухой. Мы вышли, остановились, и

оба невольно прищурили глаза: прямо против нас, среди раскаленного тумана, садилось багровое, огромное солнце. Полнеба разгоралось и рдело; красные лучи били вскользь по лугам, бросая алый отблеск даже на тенистую сторону оврагов, ложились огнистым свинцом по речке, там, где она не пряталась под нависшие кусты, и словно упирались в грудь обрыву и роще. Мы стояли, облитые горячим сиянием. Я не в состоянии передать всю страстную торжественность этой картины. Говорят, одному слепому красный цвет представлялся трубным звуком; не знаю, насколько это сравнение справедливо, но действительно было что-то призывное в этом пылающем золоте вечернего воздуха, в багряном блеске неба и земли. Я вскрикнул от восторга и тотчас обратился к Лизе. Она глядела прямо на солнце. Помнится, пожар зари отражался маленькими огненными пятнышками в ее глазах. Она была поражена, глубоко тронута. Она ничего не отвечала на мое восклицание, долго не шевелилась, потупила голову... Я протянул к ней руку, она отвернулась от меня и вдруг залилась слезами. Я глядел на нее с тайным, почти радостным недоумением... Голос Бизьмёнкова раздался в двух шагах от нас. Лиза быстро отерла слезы и с нерешительной улыбкой посмотрела на меня. Старуха вышла из рощи, опираясь на руку своего белокурого вожатая; оба в свою очередь полюбовались видом. Старуха спросила что-то у Лизы, и я, помню, невольно вздрогнул, когда ей в ответ прозвучал, как надтреснувшее стекло, разбитый голосок ее дочери. Между тем солнце закатилось, заря начала гаснуть. Мы пошли назад. Я опять взял Лизу под руку. В роще было еще светло, и я ясно мог различить ее черты. Она была смущена и не поднимала глаз. Румянец, разлитый по всему ее лицу, не исчезал: словно она все еще стояла в лучах заходящего солнца... Рука ее чуть касалась моей. Я долго не мог начать речи: так сильно билось во мне сердце. Сквозь деревья вдали замелькала карета; кучер шагом ехал к нам навстречу по рыхлому песку дороги.

– Лизавета Кирилловна, – промолвил я наконец, – отчего вы плакали?

– Не знаю, – возразила она после небольшого молчания, посмотрела на меня своими кроткими, еще влажными от слез глазами – взгляд их показался мне измененным – и опять умолкла.

– Вы, я вижу, любите природу... – продолжал я.

Я совсем не то хотел сказать, да и эту последнюю фразу язык мой едва пролепетал до конца. Она покачала головой. Я более не мог произнести слова... я ждал чего-то... не признанья – где! я ждал доверчивого взгляда, вопроса... Но Лиза глядела на землю и молчала. Я повторил еще раз вполголоса: «Отчего?» – и не получил ответа. Ей, я это видел, становилось неловко, почти стыдно.

Спустя четверть часа мы уже сидели в карете и подъезжали к городу. Дружной рысью бежали лошади; мы быстро мчались сквозь темнеющий, влажный воздух. Я вдруг разговорился, беспрестанно обращался то к Бизьмёнкову, то к Ожогиной, не глядел на Лизу, но мог заметить, что из угла кареты взор ее не раз останавливался на мне. Дома она встрепенулась, однако не захотела читать со мной и скоро отправилась спать. Перелом, тот перелом, о котором я говорил, в ней совершился. Она перестала быть девочкой, она тоже начала ждать... как я... чего-то. Она недолго ждала.

Но я в ту же ночь вернулся к себе на квартиру в совершенном очаровании. Смутное – не то предчувствие, не то подозрение, которое возникло было во мне, исчезло: внезапную принужденность в обхождении Лизы со мною я приписывал девической стыдливости, робости... Разве я не читал тысячу раз во многих сочинениях, что первое появление любви всегда волнует и пугает девицу? Я чувствовал себя весьма счастливым и уже строил в уме различные планы...

Если б кто-нибудь сказал мне тогда на ухо: «Врешь, любезный! Тебе совсем не то предстоит, братец: тебе предстоит умереть одиноко, в дрянном домишке, под несносное ворчанье старой бабы, которая ждет не дождется твоей смерти, чтобы продать за бесценок твои сапоги...»

Да, поневоле скажешь с одним русским философом: «Как знать, чего не знаешь?» До завтра.

25 марта. Белый зимний день

Я перечел то, что вчера написал, и чуть-чуть не изорвал всей тетради. Мне кажется, я слишком пространно и слишком сладко рассказываю. Впрочем, так как остальные мои воспоминания о том времени не представляют ничего отрадного, кроме той отрады особенного рода, которую Лермонтов имел в виду, когда говорил, что весело и больно тревожить язвы старых ран, то почему же и не побаловать себя? Но надобно и честь знать. И потому продолжаю без всякой сладости.

В течение целой недели, после прогулки за городом, положение мое, в сущности, нисколько не улучшилось, хотя перемена в Лизе становилась заметнее с каждым днем. Я, как уже сказано, толковал эту перемену в самую для меня выгодную сторону... Несчастие людей одиноких и робких – от самолюбия робких – состоит именно в том, что они, имея глаза и даже растаращив их, ничего не видят или видят все в ложном свете, словно сквозь окрашенные очки. Их же собственные мысли и наблюдения мешают им на каждом шагу. В начале нашего знакомства Лиза обращалась со мной доверчиво и вольно, как ребенок; может быть, даже в ее расположении ко мне было нечто более простой, детской привязанности... Но когда совершился в ней тот странный, почти внезапный перелом, она, после небольшого недоумения, почувствовала себя стесненной в моем присутствии; она невольно отворачивалась от меня и в то же время грустила и задумывалась... Она ждала... чего? сама не знала... а я... я, как уже сказано, радовался этой перемене... Я, ей-богу, чуть-чуть не замирал, как говорится, от восторга. Впрочем, я готов согласиться, что и другой на моем месте мог бы обмануться... У кого нет самолюбия? Нечего и говорить, что это все мне стало ясным только в последствии времени, когда мне пришлось опустить свои ошибенные, и без того несильные, крылья.

Недоразумение, возникшее между мной и Лизой, продолжалось целую неделю, – и в этом нет ничего удивительного: мне случалось быть свидетелем недоразумений, продолжавшихся годы за годами. Да и кто сказал, что одна истина действительна? Ложь так же живуча, как

и истина, если не более. Точно, помнится, во мне даже в течение этой недели изредка шевелился червь... но наш брат, одинокий человек, опять-таки скажу, так же не способен понять то, что в нем происходит, как и то, что совершается перед его глазами. Да и притом: разве любовь – естественное чувство? Разве человеку свойственно любить? Любовь – болезнь; а для болезни закон не писан. Положим, у меня сердце иногда неприятно сжималось; да ведь все во мне было перевернуто кверху дном. Как тут прикажете узнать, что ладно и что неладно, какая причина, какое значение каждого отдельного ощущения?

Но как бы то ни было, все эти недоразумения, предчувствия и надежды разрешились следующим образом.

Однажды – дело было утром, часу в двенадцатом – не успел я войти в переднюю г. Ожогина, как незнакомый, звонкий голос раздался в зале, дверь распахнулась, и, в сопровождении хозяина, показался на пороге стройный и высокий мужчина лет двадцати пяти, быстро накинул на себя военную шинель, лежавшую на прилавке, ласково простился с Кириллом Матвеичем, проходя мимо меня, небрежно коснулся своей фуражки – и исчез, звеня шпорами.

– Кто это? – спросил я Ожогина.

– Князь Н*, – отвечал мне тот с озабоченным лицом, – из Петербурга прислан: рекрутов принимать. Да где ж это люди? – продолжал он с досадой, – шинели ему никто не подал.

Мы вошли в залу.

– Давно он приехал? – спросил я.

– Говорит, вчера вечером. Я ему предложил комнату у себя, да он отказался. Впрочем, он, кажется, очень милый малый.

– Долго он у вас пробыл?

– С час. Он просил меня представить его Олимпиаде Никитичне.

– И вы представили его?

– Как же.

– А с Лизаветой Кирилловной он...

– Он и с ней познакомился – как же.

Я помолчал.

– Надолго он сюда приехал, вы не знаете?

– Да я думаю, ему здесь недели две придется пробыть с лишком.

И Кирилла Матвеич побежал одеваться.

Я прошелся несколько раз по зале. Не помню, чтобы приезд князя Н* произвел во мне тогда же какое-нибудь особенное впечатление, кроме того неприязненного чувства, которое обыкновенно овладевает нами при появлении нового лица в нашем домашнем кружку. Может быть, к этому чувству примешивалось еще нечто вроде зависти робкого и темного москвича к блестящему петербургскому офицеру. «Князь, – думал я, – столичная штучка: на нас свысока смотреть будет...» Не более минуты видел я его, но успел заметить, что он был хорош собой, ловок и развязен. Походив некоторое время по зале, я наконец остановился перед зеркалом, достал из кармана гребешок, придал моим волосам живописную небрежность и, как это иногда случается, внезапно углубился в созерцание моего собственного лица. Помнится, мое внимание было заботливо сосредоточено на моем носе; мягковатые и неопределенные очертания этого члена не доставляли мне особенного удовольствия – как вдруг, в темной глубине наклоненного стекла, отражавшего почти всю комнату, отворилась дверь и показалась стройная фигура Лизы. Не знаю, почему я не шевельнулся и удержал на лице прежнее выражение. Лиза протянула голову, внимательно посмотрела на меня и, подняв брови, закусив губы и притаив дыхание, как человек, который рад, что его не заметили, осторожно подалась назад и тихонько потянула за собою дверь. Дверь слабо скрипнула. Лиза вздрогнула и замерла на месте... Я все не шевелился... Она потянула за ручку опять и скрылась. Не было возможности сомневаться: выражение Лизина лица при виде моей особы, это выражение, в котором не замечалось ничего, кроме желания благополучно убраться назад, избегнуть неприятного свидания, быстрый отблеск удовольствия, который я успел уловить в ее глазах, когда ей показалось, что ей точно удалось ускользнуть незамеченной, – все это говорило слишком ясно: эта девушка меня не любит. Я долго, долго не мог отвести взора от неподвижной, немой двери, снова белым пятном появившейся в глубине зеркала; хотел было улыбнуться своей собственной вытянутой фигуре – опустил голову, вернулся домой и бросился на диван. Мне было необыкновенно тяжело, так тяжело, что я не мог плакать... да и о чем было плакать?.. «Неужели? – твердил я беспрестанно, лежа, как убитый, на спине и сложив руки на груди, – неужели?..» Как вам нравится это «неужели»?

26 марта. Оттепель

Когда я на другой день, после долгих колебаний и внутренно замирая, вошел в знакомую гостиную Ожогиных, я уже был не тем человеком, каким они меня знали в течение трех недель. Все мои прежние замашки, от которых я было начал отвыкать под влиянием нового для меня чувства, внезапно появились опять и завладели мною, как хозяева, вернувшиеся в свой дом. Люди, подобные мне, вообще руководствуются не столько положительными фактами, сколько собственными впечатлениями: я, не далее как вчера мечтавший о «восторгах взаимной любви», сегодня уже нимало не сомневался в своем «несчастии» и совершенно отчаивался, хотя я сам не был в состоянии сыскать какой-нибудь разумный предлог своему отчаянию. Не мог же я ревновать к князю Н*, и какие бы за ним ни водились достоинства, одного его появления не было достаточно, чтобы разом искоренить то расположение Лизы ко мне... Да полно, существовало ли это расположение? Я припоминал прошедшее. «А прогулка в лесу? – спрашивал я самого себя. – А выражение ее лица в зеркале? Но, – продолжал я, – прогулка в лесу, кажется... Фу ты, боже мой! что я за ничтожное существо!» – восклицал я вслух наконец. Вот какого рода недосказанные, недодуманные мысли, тысячу раз возвращаясь, однообразным вихрем кружились в голове моей. Повторяю, я вернулся к Ожогиным тем же мнительным, подозрительным, натянутым человеком, каким был с детства...

Я застал все семейство в гостиной; Бизьмёнков тут же сидел, в уголку. Все казались в духе; особенно Ожогин так и сиял и с первого же слова сообщил мне, что князь Н* пробыл у них вчера целый вечер. Лиза спокойно приветствовала меня. «Ну, – сказал я сам себе, – теперь я понимаю, отчего вы в духе». Признаюсь, вторичное посещение князя меня озадачило. Я этого не ожидал. Вообще наш брат ожидает всего на свете, кроме того, что в естественном порядке вещей должно случиться. Я надулся и принял вид оскорбленного, но великодушного человека; хотел наказать Лизу своею немилостью, из чего, впрочем, должно заключить, что я все-таки еще не совершенно отчаивался. Говорят, в иных случаях, когда вас действительно любят, даже полезно

помучить обожаемое существо; но в моем положении это было невыразимо глупо: Лиза самым невинным образом не обратила на меня внимания. Одна старуха Ожогина заметила мою торжественную молчаливость и заботливо осведомилась о моем здоровье. Я, разумеется, с горькою улыбкой отвечал ей, что я, слава богу, совершенно здоров. Ожогин продолжал распространяться насчет своего гостя; но, заметив, что я неохотно отвечал ему, он обращался более к Бизьмёнкову, который слушал его с большим вниманием, как вдруг вошел человек и доложил о князе Н*. Хозяин вскочил и побежал ему навстречу; Лиза, на которую я тотчас устремил орлиный взор, покраснела от удовольствия и зашевелилась на стуле. Князь вошел, раздушенный, веселый, ласковый...

Так как я не сочиняю повести для благосклонного читателя, а просто пишу для собственного удовольствия, то мне, стало быть, не для чего прибегать к обычным уловкам господ литераторов. Скажу сейчас же, без дальнего отлагательства, что Лиза с первого же дня страстно влюбилась в князя, и князь ее полюбил – отчасти от нечего делать, отчасти от привычки кружить женщинам голову, но также оттого, что Лиза точно была очень милое существо. В том, что они полюбили друг друга, не было ничего удивительного. Он, вероятно, никак не ожидал найти подобную жемчужину в такой скверной раковине (я говорю о богомерзком городе О...), а она до тех пор и во сне не видала ничего хотя несколько похожего на этого блестящего, умного, пленительного аристократа.

После первых приветствий Ожогин представил меня князю, который обошелся со мной очень вежливо. Он вообще был очень вежлив со всеми и, несмотря на несоразмерное расстояние, находящееся между ним и нашим темным уездным кружком, умел не только никого не стеснять, но даже показать вид, как будто он был нам равный и только случайным образом жил в С.-Петербурге.

Этот первый вечер... О, этот первый вечер! В счастливые дни нашего детства учители рассказывали нам и поставляли в пример черту мужественного терпения того молодого лакедемонца, который, украв лисицу и спрятав ее под свою хламиду, ни разу не пикнув, позволил ей съесть все свои потроха и таким образом предпочел самую смерть позору... Я не могу найти лучшего сравнения для выражения моих несказанных страданий в течение того вечера, когда я

в первый раз увидел князя подле Лизы. Моя постоянно напряженная улыбка, мучительная наблюдательность, мое глупое молчание, тоскливое и напрасное желание уйти – все это, вероятно, было весьма замечательно в своем роде. Не одна лисица рылась в моих внутренностях: ревность, зависть, чувство своего ничтожества, бессильная злость меня терзали. Я не мог не сознаться, что князь был действительно весьма любезный молодой человек... Я пожирал его глазами; я, право, кажется, забывал мигать, глядя на него. Он разговаривал не с одной Лизой, но, конечно, говорил только для нее одной. Я, должно быть, сильно надоедал ему... Он, вероятно, скоро догадался, что имел дело с устраненным любовником, но из сожаления ко мне, а также из глубокого сознания моей совершенной безопасности обращался со мной необыкновенно мягко. Можете себе представить, как это меня оскорбляло! В течение вечера я, помнится, попытался загладить свою вину; я (не смейтесь надо мной, кто бы вы ни были, кому попадутся эти строки на глаза, тем более что это было моей последней мечтой)... я, ей-богу, посреди моих разнообразных терзаний вдруг вообразил, что Лиза хочет наказать меня за мою надменную холодность в начале моего посещения, что она сердится на меня и только с досады кокетничает с князем... Я улучил время и, с смиренной, но ласковой улыбкой подойдя к ней, пробормотал: «Довольно, простите меня... впрочем, я это не оттого, чтобы я боялся», – и вдруг, не дожидаясь ее ответа, придал лицу своему необыкновенно живое и развязное выражение, криво усмехнулся, протянул руку над головой в направлении потолка (я, помнится, желал поправить шейный платок) и даже собирался повернуться на одной ножке, как бы желая сказать: «Все кончено, я в духе, будемте все в духе», однако не повернулся, боясь упасть по причине какой-то неестественной окоченелости в коленях... Лиза решительно не поняла меня, с удивлением посмотрела мне в лицо, торопливо улыбнулась, как бы желая поскорее отделаться, и снова подошла к князю. Как я ни был слеп и глух, но не мог внутренно не сознаться, что она вовсе не сердилась и не досадовала на меня в эту минуту: она просто и не думала обо мне. Удар был решительный: последние мои надежды с треском рухнули, как ледяная глыба, прохваченная весенним солнцем, внезапно рассыпается на мелкие куски. Я был разбит наголову с

первого же натиска и, как пруссаки под Иеной, в один день, разом все потерял. Нет, она не сердилась на меня!..

Увы, напротив! Ее самое – я это видел – подмывало, как волной. Словно молодое деревцо, уже до половины отставшее от берега, она с жадностью наклонялась над потоком, готовая отдать ему навсегда и первый расцвет своей весны, и всю жизнь свою. Кому довелось быть свидетелем подобного увлечения, тот пережил горькие минуты, если он сам любил и не был любимым. Я вечно буду помнить это пожирающее внимание, эту нежную веселость, это невинное самозабвение, этот взгляд, еще детский и уже женский, эту счастливую, словно расцветающую улыбку, не покидавшую полураскрытых губ и зардевшихся щек... Все, что Лиза смутно предчувствовала во время нашей прогулки в роще, сбылось теперь, – и она, отдаваясь вся любви, в то же время вся утихала и светлела, как молодое вино, которое перестает бродить, потому что его время настало...

Я имел терпение высидеть этот первый вечер и последующие вечера... все до конца! Я ни на что не мог надеяться. Лиза и князь с каждым днем более и более привязывались друг к другу... Но я решительно потерял чувство собственного достоинства и не мог оторваться от зрелища своего несчастия. Помнится, однажды я попытался было не пойти, с утра дал себе честное слово остаться дома... и в восемь часов вечера (я обыкновенно выходил в семь), как сумасшедший, вскочил, надел шапку и, задыхаясь, прибежал в гостиную Кирилла Матвеича. Положение мое было необыкновенно нелепо: я упорно молчал, иногда по целым дням не произносил звука. Я, как уже сказано, никогда не отличался красноречием; но теперь все, что было во мне ума, словно улетучивалось в присутствии князя, и я оставался гол как сокол. Притом я наедине до того заставлял работать мой несчастный мозг, медленно передумывая все замеченное или подмеченное мною в течение вчерашнего дня, что, когда я возвращался к Ожогиным, у меня едва доставало силы опять наблюдать. Меня щадили как больного: я это видел. Я каждое утро принимал новое, окончательное решение, большею частью мучительно высиженное в течение бессонной ночи: я то собирался объясниться с Лизой, дать ей дружеский совет... но когда мне случалось быть с ней наедине, язык мой вдруг переставал действовать, словно застывал, и мы оба с тоской

ожидали прибытия третьего лица; то хотел бежать, разумеется навсегда, оставив моему предмету письмо, исполненное упреков, и уже однажды начал было это письмо, но чувство справедливости во мне еще не совсем исчезло: я понял, что не вправе никого ни в чем упрекать, и бросил в огонь свою цидулу; то я вдруг великодушно приносил всего себя в жертву, благословлял Лизу на счастливую любовь и из угла кротко и дружелюбно улыбался князю. Но жестокосердые любовники не только не благодарили меня за мою жертву, даже не замечали ее и, по-видимому, не нуждались ни в моих благословениях, ни в моих улыбках... Тогда я, с досады, внезапно переходил в совершенно противоположные настроения духа. Я давал себе слово, закутавшись плащом наподобие испанца, из-за угла зарезать счастливого соперника и с зверской радостью воображал себе отчаяние Лизы... Но, во-первых, в городе О... подобных углов было очень немного, а во-вторых – бревенчатый забор, фонарь, будочник в отдалении... нет! у такого угла как-то приличнее торговать бубликами, чем проливать кровь человеческую. Я должен признаться, что между прочими средствами к избавлению, как я весьма неопределенно выражался, беседуя с самим собою, я вздумал было обратиться к самому Ожогину... направить внимание этого дворянина на опасное положение его дочери, на печальные последствия ее легкомыслия... Я даже однажды заговорил с ним об этом щекотливом предмете, но так хитро и туманно повел речь, что он слушал, слушал меня – и вдруг, словно спросонья, сильно и быстро потер ладонью по всему лицу, не щадя носа, фыркнул и отошел от меня в сторону. Нечего и говорить, что я, приняв это решение, уверял себя, что действую из самых бескорыстных видов, желаю общего блага, исполняю долг друга дома... Но смею думать, что если б даже Кирилла Матвеич не пресек моих излияний, у меня все-таки недостало бы храбрости докончить свой монолог. Я иногда принимался с важностью древнего мудреца взвешивать достоинства князя; иногда утешал себя надеждою, что это только так, что Лиза опомнится, что ее любовь – ненастоящая любовь... о нет! Словом, я не знаю мысли, над которой не повозился бы я тогда. Одно только средство, признаюсь откровенно, никогда мне не приходило в голову, а именно: я ни разу не подумал лишить себя жизни. Отчего это мне не пришло в голову, не знаю... Может быть, я уже тогда предчувствовал, что мне и без того жить недолго.

Понятно, что при таких невыгодных данных поведение мое, обхождение с людьми более чем когда-нибудь отличалось неестественностию и напряжением. Даже старуха Ожогина – это тупорожденное существо – начинала дичиться меня и, бывало, не знала, с какой стороны ко мне подойти. Бизьмёнков, всегда вежливый и готовый к услугам, избегал меня. Мне уже тогда казалось, что я в нем имел собрата, что и он любил Лизу. Но он никогда не отвечал на мои намеки и вообще неохотно со мной разговаривал. Князь обращался с ним весьма дружелюбно; князь, можно сказать, уважал его. Ни Бизьмёнков, ни я – мы не мешали князю и Лизе; но он не чуждался их, как я, не глядел ни волком, ни жертвой – и охотно присоединялся к ним, когда они этого желали. Правда, он в этих случаях не отличался особенно шутливостью; но в его веселости и прежде было что-то тихое.

Таким образом прошло около двух недель. Князь не только был собой хорош и умен: он играл на фортепьяно, пел, довольно порядочно рисовал, умел рассказывать. Его анекдоты, почерпнутые из высших кругов столичной жизни, всегда производили сильное впечатление на слушателей, тем более сильное, что он как будто не придавал им особенного значения...

Следствием этой, если хотите, простой уловки князя было то, что он в течение своего непродолжительного пребывания в городе О... решительно очаровал все тамошнее общество. Очаровать нашего брата-степняка всегда очень легко человеку из высшего круга. Частые посещения князя у Ожогиных (он проводил у них все вечера), конечно, возбуждали зависть других господ дворян и чиновников; но князь, как человек светский и умный, не обошел ни одного из них, побывал у всех, всем барыням и барышням сказал хотя по одному ласковому слову, позволял кормить себя вычурно тяжелыми кушаньями и поить дрянными винами с великолепными названиями – словом, вел себя отлично, осторожно и ловко. Князь Н* вообще был человек веселого нрава, общежительный, любезный по наклонности, да тут еще, кстати, по расчету: как же ему было не успеть совершенно и во всем?

Со времени его приезда все в доме находили, что время летело с быстротой необыкновенной, все шло прекрасно; старик Ожогин хотя и притворялся, что ничего не замечает, но, вероятно, тайком потирал

себе руки при мысли иметь такого зятя; сам князь вел все дело очень тихо и пристойно, как вдруг одно неожиданное происшествие...

До завтра. Сегодня я устал. Эти воспоминания раздражают меня даже на краю гроба. Терентьевна сегодня нашла, что мой носик уже завострился; а это, говорят, плохой знак.

27 марта. Оттепель продолжается

Дела находились в вышеизложенном положении; князь и Лиза любили друг друга, старики Ожогины ждали, что-то будет; Бизьмёнков тут же присутствовал – о нем нечего было сказать другого; я бился как рыба о лед и наблюдал что было мочи, – помнится, я в то время поставил себе задачей по крайней мере не дать Лизе погибнуть в сетях обольстителя и вследствие этого начал обращать особенное внимание на горничных и на роковое «заднее» крыльцо, хотя я, с другой стороны, иногда по целым ночам мечтал о том, с каким трогательным великодушием я со временем протяну руку обманутой жертве и скажу ей: «Коварный изменил тебе; но я твой верный друг... Забудем прошедшее и будем счастливы!» – как вдруг по всему городу распространилась радостная весть: уездный предводитель намерен был дать большой бал, в честь почетного посетителя, в собственном своем имении Горностаевке, Губнякове тож. Все чины и власти города О... получили приглашение, начиная с городничего и кончая аптекарем, необыкновенно чирым немцем с жестокими притязаниями на уменье говорить чисто по-русски, вследствие чего он беспрестанно и вовсе некстати употреблял сильные выражения, как, например: «Я, черт меня завзем побери, сиводнэ маладец завзем...» Поднялись, как водится, страшные приготовления. Один косметик-лавочник продал шестнадцать темно-синих банок помады с надписью «a la jesminЪ»[2], с ером на конце. Барышни сооружали себе тугие платья с мучительным перехватом и мысом на желудке; матушки воздвигали на своих собственных головах какие-то грозные украшения, под предлогом чепцов; захлопотавшиеся отцы лежали, как говорится, без задних ног... Желанный день настал наконец. Я был в числе приглашенных. От города до Горностаевки считалось девять верст. Кирилла Матвеич предложил мне место в своей карете; но я отказался... Так наказанные дети, желая хорошенько отомстить своим родителям, за столом отказываются от любимых кушаний. Притом я чувствовал, что мое присутствие стеснило бы Лизу. Бизьмёнков заменил меня. Князь поехал в своей коляске, я – на дрянных дрожках, нанятых мною за большие деньги для этого торжественного случая. Я

не стану описывать этот бал. Все в нем было как водится: музыканты с необыкновенно фальшивыми трубами на хорах, ошеломленные помещики с застарелыми семействами, лиловое мороженое, слизистый оршад, люди в стоптанных сапогах и вязаных бумажных перчатках, провинциальные львы с судорожно искаженными лицами и т. д., и т. д. ...И весь этот маленький мир вертелся вокруг своего солнца – вокруг князя. Потерянный в толпе, не замеченный даже сорокавосьмилетними девицами с красными прыщами на лбу и голубыми цветами на темени, я беспрестанно глядел то на князя, то на Лизу. Она была очень мило одета и очень хороша собой в тот вечер. Они только два раза танцевали друг с другом (правда, он с ней танцевал мазурку!), но по крайней мере *мне* казалось, что между ними существовало какое-то тайное, непрерывное сообщение. Он, и не глядя на нее, не говоря с ней, все как будто обращался к ней, и к ней одной; он был хорош, и блестящ, и мил с другими – для ней одной. Она, видимо, сознавала себя царицей бала – и любимой: ее лицо в одно и то же время сияло детской радостью, невинной гордостью и внезапно озарялось другим, более глубоким чувством. От ней веяло счастием. Я все это замечал... Не в первый раз мне приходилось наблюдать за ними... Сперва это меня сильно огорчило, потом как будто тронуло, а наконец взбесило. Я внезапно почувствовал себя необыкновенно злым и, помнится, необыкновенно обрадовался этому новому ощущению и даже возымел некоторое к себе уважение. «Покажем им, что мы еще не погибли», – сказал я самому себе. Когда загремели первые призывные звуки мазурки, я спокойно оглянулся, холодно и развязно подошел к одной длиннолицей барышне с красным и глянцевитым носом, неловко раскрытым, словно расстегнутым ртом и жилистой шеей, напоминавшей ручку контрабаса, – подошел к ней и, сухо щелкнув каблуками, пригласил ее. На ней было розовое, словно недавно и еще не совсем выздоровевшее платье; над головой у ней дрожала какая-то полинявшая, унылая муха на претолстой медной пружине, и вообще эта девица была, если можно так выразиться, вся насквозь наспиртована какой-то кислой скукой и застарелой неудачей. С самого начала вечера она не тронулась с места: никто не думал пригласить ее. Один шестнадцатилетний белокурый юноша хотел было, за неимением другой дамы, обратиться к этой девице и уже сделал шаг в направлении к ней, да подумал, поглядел и проворно спрятался в

толпу. Можете себе представить, с каким радостным изумлением она согласилась на мое предложение! Я торжественно повел ее через всю залу, отыскал два стула и сел с ней в кругу мазурки, в десятых парах, почти напротив князя, которому, разумеется, предоставили первое место. Князь, как уже сказано, танцевал с Лизой. Ни меня, ни моей дамы не беспокоили приглашениями; стало быть, времени для разговора у нас было достаточно. Правду сказать, моя дама не отличалась способностью произносить слова в связной речи: она употребляла свой рот более для исполнения какой-то странной и дотоле мною невиданной улыбки вниз; причем глаза она поднимала вверх, словно невидимая сила растягивала ей лицо; но я и не нуждался в ее красноречии. Благо, я чувствовал себя злым и моя дама не внушала мне робости. Я пустился критиковать все и всех на свете, особенно напирая на столичных молодчиков и петербургских мирлифлеров, и до того наконец расходился, что моя дама понемногу перестала улыбаться и, вместо того чтоб поднимать глаза кверху, начала вдруг – от изумления, должно быть, – коситься, и притом так странно, словно она в первый раз заметила, что у ней есть нос на лице; а мой сосед, один из тех львов, о которых говорено было выше, не раз окинул меня взором, даже оборотился ко мне с выражением актера на сцене, просыпающегося в незнакомой стороне, как бы желая сказать: «И ты туда же?» Впрочем, распевая, как говорится, соловьем, я все продолжал наблюдать за князем и Лизой. Их беспрестанно приглашали; но я менее страдал, когда они оба танцевали, и даже тогда, когда они сидели рядом и, разговаривая друг с другом, улыбались той кроткой улыбкой, которая не хочет сойти с лица счастливых любовников, – даже тогда я не столько томился; но когда Лиза порхала по зале с каким-нибудь ухарским фертом, а князь, с ее голубым газовым шарфом на коленях, словно любуясь своей победой, задумчиво следил за ней глазами, – тогда, о, тогда я испытывал невыносимые мучения и с досады отпускал такие злостные замечания, что зрачки моей дамы с обеих сторон совершенно упирались в нос! Между тем мазурка склонялась к концу... Начали делать фигуру, называемую la confidente[3]. В этой фигуре дама садится на середине круга, выбирает другую даму в доверенные и шепчет ей на ухо имя господина, с которым она желает танцевать; кавалер подводит ей поодиночке танцоров, а доверенная дама им отказывает, пока наконец

появится заранее назначенный счастливчик. Лиза села в середину круга и выбрала хозяйскую дочь, девицу из числа тех, о которых говорят, что они «бог с ними». Князь пустился отыскивать избранника. Напрасно представив около десяти молодых людей (хозяйская дочь отказала им всем с приятнейшей улыбкой), он наконец обратился ко мне. Нечто необыкновенное произошло во мне в это мгновение: я словно мигнул всем телом и хотел было отказаться, однако встал и пошел. Князь подвел меня к Лизе... Она даже не посмотрела на меня; хозяйская дочь отрицательно покачала головой, князь обернулся ко мне и, вероятно, возбужденный гусиным выражением моего лица, глубоко мне поклонился. Этот насмешливый поклон, этот отказ, переданный мне торжествующим соперником, его небрежная улыбка, равнодушное невнимание Лизы – все это меня взорвало... Я пододвинулся к князю и с бешенством прошептал: «Вы, кажется, изволите смеяться надо мной?»

Князь поглядел на меня с презрительным удивлением, снова взял меня за руку и, показывая вид, что провожает меня до моего места, холодно ответил мне: «Я?»

– Да, вы! – продолжал я шепотом, повинуясь, однако, ему, то есть идя за ним к своему месту, – вы; но я не намерен позволять какому-нибудь пустому петербургскому выскочке...

Князь усмехнулся спокойно, почти снисходительно, стиснул мне руку, прошептал: «Я вас понимаю; но здесь не место: мы поговорим», – отвернулся от меня, подошел к Бизьмёнкову и подвел его к Лизе. Бледненький чиновничек оказался избранником. Лиза встала ему навстречу.

Садясь возле своей дамы с унылой мухой на голове, я чувствовал себя почти героем. Сердце во мне билось сильно, грудь благородно поднималась под накрахмаленной манишкой, я дышал глубоко и скоро – и вдруг так великолепно посмотрел на соседнего льва, что тот невольно дрыгнул обращенной ко мне ножкой. Отделав этого человека, я обвел глазами весь круг танцующих... Мне показалось, что два-три господина не без недоумения глядели на меня; но вообще наш разговор с князем не был замечен... Соперник мой уже сидел на своем стуле, совершенно спокойный и с прежней улыбкой на лице. Бизьмёнков довел Лизу до ее места. Она дружелюбно ему поклонилась и тотчас обратилась к князю, как мне показалось, с некоторой тревогой; но он

засмеялся ей в ответ, грациозно махнул рукой и, должно быть, сказал ей что-то очень приятное, потому что она вся зарделась от удовольствия, опустила глаза и потом с ласковым упреком устремила их опять на него.

Геройское расположение, внезапно развившееся во мне, не исчезло до конца мазурки; но я более уже не острил и не «критиканствовал», а только изредка мрачно и строго взглядывал на свою даму, которая, видимо, начинала бояться меня и уже совершенно заикалась и беспрерывно моргала, когда я ее отвел под природное укрепление ее матери, очень толстой женщины с рыжим током на голове... Вручив запуганную девицу по принадлежности, я отошел к окну, скрестил руки и начал ждать, что-то будет. Я ждал довольно долго. Князь все время был окружен хозяином, именно окружен, как Англия окружена морем, не говоря уже о прочих членах семейства уездного предводителя и остальных гостях; да и притом он не мог, не возбудив всеобщего изумления, подойти к такому незначительному человеку, как я, заговорить с ним. Эта моя незначительность, помнится, даже радовала меня тогда. «Шалишь! – думал я, глядя, как он вежливо обращался то к одному, то к другому почетному лицу, добивавшемуся чести быть им замеченным хотя на „миг“, как говорят поэты, – шалишь, голубчик... подойдешь ко мне ужо – ведь я тебя оскорбил». Наконец князь, как-то ловко отделавшись от толпы своих обожателей, прошел мимо меня, взглянул – не то на окно, не то на мои волосы, отвернулся было и вдруг остановился, словно что-то вспомнил.

– Ах да! – сказал он, обращаясь ко мне с улыбкой, – кстати, у меня есть до вас дельце.

Два помещика, из самых неотвязчивых, упорно следившие за князем, вероятно, подумали, что «дельце» служебное, и почтительно отступили назад. Князь взял меня под руку и отвел в сторону. Сердце у меня стучало в груди.

– Вы, кажется, – начал он, растянув слово *вы* и глядя мне в подбородок с презрительным выражением, которое, странным образом, как нельзя лучше шло к его свежему и красивому лицу, – вы мне сказали дерзость?

– Я сказал, что думал, – возразил я, повысив голос.

– Тсс... тише, – заметил он, – порядочные люди не кричат. Вам, может быть, угодно драться со мной?

– Это ваше дело, – отвечал я, выпрямившись.

– Я буду принужден вызвать вас, – заговорил он небрежно, – если вы не откажетесь от ваших выражений...

– Я ни от чего не намерен отказываться, – возразил я с гордостью.

– В самом деле? – заметил он не без насмешливой улыбки. – В таком случае, – продолжал он, помолчав, – я буду иметь честь прислать к вам завтра своего секунданта.

– Очень хорошо-с, – проговорил я голосом как можно более равнодушным.

Князь слегка поклонился.

– Я не могу запретить вам находить меня пустым человеком, – прибавил он, надменно прищурив глаза, – но князья Н* не могут быть выскочками. До свидания, господин... господин Штукатурин.

Он быстро обернулся ко мне спиной и снова подошел к хозяину, уже начинавшему волноваться.

Господин Штукатурин!.. Меня зовут Чулкатуриным... Я ничего не нашелся сказать ему в ответ на это последнее оскорбление и только с бешенством посмотрел ему вслед. «До завтра», – прошептал я, стиснув зубы, и тотчас отыскал одного мне знакомого офицера, уланского ротмистра Колобердяева, отчаянного гуляку и славного малого, рассказал ему в немногих словах мою ссору с князем и попросил его быть моим секундантом. Он, разумеется, немедленно согласился, и я отправился домой.

Я не мог заснуть всю ночь – от волнения, не от трусости. Я не трус. Я даже весьма мало думал о предстоящей мне возможности лишиться жизни, этого, как уверяют немцы, высшего блага на земле. Я думал об одной Лизе, о моих погибших надеждах, о том, что мне следовало сделать. «Должен ли я постараться убить князя? – спрашивал я самого себя и, разумеется, хотел убить его, не из мести, а из желания добра Лизе. – Но она не перенесет этого удара, – продолжал я. – Нет, уж пусть лучше он меня убьет!» Признаюсь, мне тоже приятно было думать, что я, темный уездный человек, принудил такую важную особу драться со мной.

Утро застало меня в этих размышленьях; а вслед за утром появился Колобердяев.

– Ну, – спросил он меня, со стуком входя в мою спальню, – где же княжеский секундант?

– Да помилуйте, – отвечал я с досадой, – теперь всего семь часов утра; князь еще, чай, спит теперь.

– В таком случае, – возразил неугомонный ротмистр, – прикажите мне дать чаю. У меня со вчерашнего вечера голова болит... Я и не раздевался. Впрочем, – прибавил он, зевнув, – я вообще редко раздеваюсь.

Ему дали чаю. Он выпил шесть стаканов с ромом, выкурил четыре трубки, рассказал мне, что он накануне за бесценок купил лошадь, от которой кучера отказались, и что намерен ее выездить, подвязав ей переднюю ногу, – и заснул, не раздеваясь, на диване, с трубкой во рту. Я встал и привел в порядок свои бумаги. Одну пригласительную записку Лизы, единственную записку, полученную мною от нее, я положил было себе на грудь, но подумал и бросил ее в ящик. Колобердяев слабо похрапывал, свесив голову с кожаной подушки... Я, помнится, долго рассматривал его взъерошенное, удалое, беззаботное и доброе лицо. В десять часов мой слуга доложил о приезде Бизьмёнкова. Князь его выбрал в секунданты!

Мы вдвоем разбудили разоспавшегося ротмистра. Он приподнялся, поглядел на нас осоловелыми глазами, хриплым голосом попросил водки, оправился и, раскланявшись с Бизьмёнковым, вышел с ним в другую комнату для совещания. Совещание господ секундантов продолжалось недолго. Четверть часа спустя они оба вошли ко мне в спальню; Колобердяев объявил мне, что «мы будем драться сегодня же, в три часа, на пистолетах». Я молча наклонил голову в знак согласия. Бизьмёнков тотчас же простился с нами и уехал. Он был несколько бледен и внутренно взволнован, как человек, не привыкший к подобного рода проделкам, но, впрочем, очень вежлив и холоден. Мне было как будто совестно перед ним, и я не смел взглянуть ему в глаза. Колобердяев начал опять рассказывать о своей лошади. Этот разговор был мне очень по нутру. Я боялся, как бы он не упомянул о Лизе. Но мой добрый ротмистр не был сплетником, да и, сверх того, презирал всех женщин, называя их, бог знает почему, салатом. В два часа мы закусили, а в три уже находились на месте действия – в той самой березовой роще, где я некогда гулял с Лизой, в двух шагах от того обрыва.

Мы приехали первые. Но князь с Бизьмёнковым недолго заставили ждать себя. Князь был, без преувеличения, свеж, как розан: карие глаза его чрезвычайно приветно глядели из-под козырька его фуражки. Он курил соломенную сигарку и, увидев Колобердяева, ласково пожал ему руку. Даже мне он очень мило поклонился. Я, напротив, сам чувствовал себя бледным, и руки мои, к страшной моей досаде, слегка дрожали... горло сохло... Я никогда еще до сих пор не дрался на дуэли. «О боже! – думал я, – лишь бы этот насмешливый господин не принял моего волнения за робость!» Я внутренно посылал свои нервы ко всем чертям; но взглянув наконец прямо в лицо князю и уловив на губах его почти незаметную усмешку, вдруг опять разозлился и тотчас успокоился. Между тем секунданты наши устроили барьер, отмерили шаги, зарядили пистолеты. Колобердяев больше действовал; Бизьмёнков больше наблюдал за ним. День был великолепный – не хуже дня незабвенной прогулки. Густая синева неба по-прежнему сквозила сквозь раззолоченную зелень листьев. Их лепет, казалось, дразнил меня. Князь продолжал курить свою сигарку, прислонясь плечом к стволу молодой липы...

– Извольте стать, господа: готово, – произнес наконец Колобердяев, вручая нам пистолеты.

Князь отошел несколько шагов, остановился и, повернув голову назад, через плечо спросил меня: «А вы все не отказываетесь от своих слов?» Я хотел отвечать ему; но голос изменил мне, и я удовольствовался презрительным движением руки. Князь усмехнулся опять и стал на свое место. Мы начали сходиться. Я поднял пистолет, прицелился было в грудь моего врага – в это мгновение он точно был моим врагом, – но вдруг поднял дуло, словно кто толкнул меня под локоть, и выстрелил. Князь пошатнулся, поднес левую руку к левому виску – струйка крови потекла по его щеке из-под белой замшевой перчатки. Бизьмёнков бросился к нему.

– Ничего, – сказал он, снимая простреленную фуражку, – коли в голову и не упал, значит царапина.

Он спокойно достал из кармана батистовый платок и приложил его к смоченным кровью кудрям. Я глядел на него, словно остолбенелый, и не двигался с места.

– Извольте идти к барьеру! – строго заметил мне Колобердяев.

Я повиновался.

– Поединок продолжается? – прибавил он, обращаясь к Бизьмёнкову.

Бизьмёнков ничего не отвечал ему; но князь, не отнимая платка от раны и не давая себе даже удовольствия помучить меня у барьера, с улыбкой возразил: «Поединок кончен» – и выстрелил на воздух. Я чуть было не заплакал от досады и бешенства. Этот человек своим великодушием окончательно втоптал меня в грязь, зарезал меня. Я хотел было противиться, хотел было потребовать, чтобы он выстрелил в меня; но он подошел ко мне и протянул мне руку.

– Ведь все позабыто меж нами, не правда ли? – промолвил он ласковым голосом.

Я взглянул на его побледневшее лицо, на этот окровавленный платок и, совершенно потерявшись, пристыженный и уничтоженный, стиснул ему руку...

– Господа! – прибавил он, обращаясь к секундантам, – я надеюсь, что все останется в тайне?

– Разумеется! – воскликнул Колобердяев, – но, князь, позвольте...

И он сам повязал ему голову.

Князь, уходя, еще раз поклонился мне; но Бизьмёнков даже не взглянул на меня. Убитый, – нравственно убитый, – возвратился я с Колобердяевым домой.

– Да что с вами? – спрашивал меня ротмистр. – Успокойтесь: рана неопасная. Он завтра же может танцевать, коли хочет. Или вам жаль, что вы его не убили? В таком случае напрасно: он славный малый.

– Зачем он пощадил меня? – пробормотал я наконец.

– Вот тебе на! – спокойно возразил ротмистр... – Ох, уж эти мне сочинители!

Я не знаю, почему ему вздумалось назвать меня сочинителем.

Я решительно отказываюсь от описания моих терзаний в течение вечера, последовавшего за этим несчастным поединком. Мое самолюбие страдало неизъяснимо. Не совесть меня мучила: сознание моей глупости меня уничтожало. «Я, я сам нанес себе последний, окончательный удар! – твердил я, ходя большими шагами по комнате. – Князь, раненный мною и простивший меня... да, Лиза теперь его. Теперь уже ничего ее не может спасти, удержать на краю пропасти». Я очень хорошо знал, что наш поединок не мог остаться в тайне, несмотря на слова князя; во всяком случае для Лизы он не мог

остаться тайной. «Князь не так глуп, – шептал я с бешенством, – чтобы не воспользоваться...» А между тем я ошибался: о поединке и о настоящей его причине узнал весь город, – на другой же день, конечно; но проболтался не князь, – напротив; когда он, с повязанной головой и с наперед сочиненным предлогом явился перед Лизой, она уже все знала... Бизьмёнков ли выдал меня, другими ли путями дошло до ней это известие, не могу сказать. Да и, наконец, разве в небольшом городе возможно что-нибудь скрыть? Можете себе представить, как Лиза его приняла, как все семейство Ожогиных его приняло! Что же до меня касается, то я внезапно стал предметом общего негодования, омерзения, извергом, сумасбродным ревнивцем и людоедом. Мои немногие знакомые от меня отказались, как от прокаженного. Городские власти немедленно обратились к князю с предложением примерно и строго наказать меня; одни настоятельные и неотступные просьбы самого князя отвратили бедствие, грозившее моей голове. Этому человеку суждено было всячески меня уничтожить. Он своим великодушием прихлопнул меня как гробовою крышей. Нечего и говорить, что дом Ожогиных тотчас же закрылся для меня. Кирилла Матвеич возвратил мне даже простой карандаш, позабытый у него мною. По-настоящему ему-то именно и не следовало на меня сердиться. Моя, как выражались в городе, «сумасбродная» ревность определила, уяснила, так сказать, отношения князя к Лизе. На него и сами старики Ожогины, и прочие обыватели стали глядеть почти как на жениха. В сущности, это ему не совсем должно было быть приятно; но Лиза ему очень нравилась; притом он еще тогда не достиг своих целей... Со всею ловкостью умного и светского человека приспособился он к новому своему положению, тотчас вошел, как говорится, в дух своей новой роли...

Но я!.. Я на свой счет, на счет своей будущности, махнул тогда рукой. Когда страдания доходят до того, что заставляют всю нашу внутренность трещать и кряхтеть, как перегруженную телегу, им бы следовало перестать быть смешными... но нет! смех не только сопровождает слезы до конца, до истощения, до невозможности проливать их более – где! он еще звенит и раздается там, где язык немеет и замирает сама жалоба... И потому, во-первых, так как я не намерен даже самому себе казаться смешным, а во-вторых, так как я

устал ужасно, то и откладываю продолжение и, если бог даст, окончание своего рассказа до следующего дня...

29 марта. Легкий мороз; вчера была оттепель

Вчера я не был в силах продолжать мой дневник: я, как Поприщин, большею частью лежал на постели и беседовал с Терентьевной. Вот еще женщина! Шестьдесят лет тому назад она потеряла своего первого жениха от чумы, всех детей своих пережила, сама непростительно стара, пьет чай, сколько душе угодно, сыта, одета тепло; а о чем, вы думаете, она вчера целый день мне говорила? Другой, уже вовсе ощипанной старухе я велел дать на жилет (она носит нагрудники в виде жилета) воротник ветхой ливреи, до половины съеденный молью... так вот отчего не ей? «А кажется, я няня ваша... О-ох, батюшка вы мой, грешно вам... А уж я-то вас, кажись, на что холила!..» и т. д. Безжалостная старуха совершенно заездила меня своими упреками... Но возвратимся к рассказу.

Итак, я страдал, как собака, которой заднюю часть тела переехали колесом. Я только тогда, только после изгнания моего из дома Ожогиных, окончательно узнал, сколько удовольствия может человек почерпнуть из созерцания своего собственного несчастия. О люди! точно, жалкий род!.. Ну, однако, в сторону философические замечания... Я проводил дни в совершенном одиночестве и только самыми окольными и даже низменными путями мог узнавать, что происходило в семействе Ожогиных, что делал князь: мой слуга познакомился с двоюродной теткой жены его кучера. Это знакомство доставило мне некоторое облегчение, и мой слуга скоро, по моим намекам и подарочкам, мог догадаться, о чем следовало ему разговаривать с своим барином, когда он стаскивал с него сапоги по вечерам. Иногда мне случалось встретить на улице кого-нибудь из семейства Ожогиных, Бизьмёнкова, князя... С князем и Бизьмёнковым я раскланивался, но не вступал в разговор. Лизу я видел всего три раза: раз – с ее маменькой, в модном магазине, раз – в открытой коляске, с отцом, матерью и князем, раз – в церкви. Разумеется, я не дерзал подойти к ней и глядел на нее только издали. В магазине она была очень озабочена, но весела... Она заказывала себе что-то и хлопотливо примеряла ленты. Матушка глядела на нее, скрестив на желудке руки,

приподняв нос и улыбаясь той глупой и преданной улыбкой, которая позволительна одним любящим матерям. В коляске с князем Лиза была... Я никогда не забуду этой встречи! Старики Ожогины сидели на задних местах коляски, князь с Лизой впереди. Она была бледнее обыкновенного; на щеках ее чуть виднелись две розовые полоски. Она была до половины обращена к князю; опираясь на свою выпрямленную правую руку (в левой она держала зонтик) и томно склонив головку, она глядела прямо ему в лицо своими выразительными глазами. В это мгновение она отдавалась ему вся, безвозвратно доверялась ему. Я не успел хорошенько заметить его лица – коляска слишком быстро промчалась мимо, – но мне показалось, что и он был глубоко тронут.

В третий раз я ее видел в церкви. Не более десяти дней прошло с того дня, когда я встретил ее в коляске с князем, не более трех недель со дня моей дуэли. Дело, по которому князь прибыл в О..., уже было окончено; но он все еще медлил своим отъездом: он отозвался в Петербург больным. В городе каждый день ожидали формального предложения с его стороны Кирилле Матвеичу. Я сам ждал только этого последнего удара, чтобы удалиться навсегда. Мне город О... опротивел. Я не мог сидеть дома и с утра до вечера таскался по окрестностям. В один серый, ненастный день, возвращаясь с прогулки, прерванной дождем, зашел я в церковь. Вечернее служение только что начиналось, народу было очень немного; я оглянулся и вдруг возле одного окна увидел знакомый профиль. Я его сперва не узнал: это бледное лицо, этот погасший взор, эти впалые щеки – неужели это та же Лиза, которую я видел две недели тому назад? Завернутая в плащ, без шляпы на голове, освещенная сбоку холодным лучом, падавшим из широкого белого окна, она неподвижно глядела на иконостас и, казалось, силилась молиться, силилась выйти из какого-то унылого оцепенения. Краснощекий, толстый казачок, с желтыми патронами на груди, стоял за нею, сложа руки на спину, и с сонливым недоумением посматривал на свою барышню. Я вздрогнул весь, хотел было подойти к ней, но остановился. Мучительное предчувствие стеснило мне грудь. До самого конца вечерни Лиза не шевельнулась. Народ весь вышел, дьячок стал подметать церковь, она все не трогалась с места. Казачок подошел к ней, сказал ей что-то, коснулся ее платья; она оглянулась,

провела рукой по лицу и ушла. Я издали проводил ее до дому и вернулся к себе.

«Она погибла!» – воскликнул я, входя в свою комнату.

Как честный человек, я до сих пор не знаю, какого рода были мои ощущения тогда; я, помнится, скрестив руки, бросился на диван и уставил глаза на пол; но, я не знаю, я посреди своей тоски как будто был чем-то доволен... Я бы ни за что в этом не сознался, если б я не писал для самого себя... Меня точно терзали мучительные, страшные предчувствия... и кто знает, я, может быть, был бы весьма озадачен, если б они не сбылись. «Таково сердце человеческое!» – воскликнул бы теперь выразительным голосом какой-нибудь русский учитель средних лет, подняв кверху жирный указательный палец, украшенный перстнем из корналинки; но что нам за дело до мнения русского учителя с выразительным голосом и корналинкой на пальце?

Как бы то ни было, мой предчувствия оказались справедливыми. Внезапно по городу разнеслась весть, что князь уехал будто вследствие полученного приказа из Петербурга; что он уехал, не сделавши никакого предложения ни Кирилле Матвеичу, ни супруге его, и что Лизе остается до конца дней своих оплакивать его вероломство. Отъезд князя был совершенно неожиданный, потому что еще накануне кучер его, по уверениям моего слуги, нисколько не подозревал намерения своего барина. Новость эта меня бросила в жар; я тотчас оделся и побежал было к Ожогиным, но, обдумавши дело, почел приличным подождать до следующего дня. Впрочем, я ничего не потерял, оставшись дома. В тот же вечер забежал ко мне некто Пандопипопуло, проезжий грек, случайным образом застрявший в городе О..., сплетник первой величины, больше всех других закипевший негодованием против меня за мою дуэль с князем. Он не дал даже времени слуге моему доложить о себе, так и ворвался в мою комнату, крепко стиснул мою руку, тысячу раз извинился передо мной, назвал меня образцом великодушия и смелости, расписал князя самыми черными красками, не пощадил стариков Ожогиных, которых, по его мнению, судьба наказала поделом; мимоходом задел и Лизу и убежал, поцеловавши меня в плечо. Между прочим, я узнал от него, что князь en vrai grand seigneur[4], накануне отъезда, на деликатный намек Кириллы Матвеича холодно отвечал, что не намерен никого обманывать и не думает жениться, встал, раскланялся и был таков...

На другой день я отправился к Ожогиным. Подслеповатый лакей, при моем появлении, вскочил с прилавка с быстротою молнии, я велел доложить о себе; лакей побежал и тотчас вернулся: пожалуйте, дескать, приказали просить. Я вошел в кабинет Кириллы Матвеича... До завтра.

30 марта. Мороз

Итак, я вошел в кабинет Кириллы Матвеича. Я бы дорого заплатил тому, кто бы мог показать мне теперь мое собственное лицо в ту минуту, когда этот почтенный чиновник, торопливо запахнув свой бухарский халат, подошел ко мне с протянутыми руками. От меня, должно быть, так и веяло скромным торжеством, снисходительным участием и беспредельным великодушием... Я чувствовал себя чем-то вроде Сципиона Африканского. Ожогин был видимо смущен и опечален, избегал моего взора, семенил на месте. Я также заметил, что он говорил как-то неестественно громко и вообще выражался весьма неопределенно; неопределенно, но с жаром попросил у меня извинения, неопределенно упомянул об уехавшем госте, присовокупил несколько общих и неопределенных замечаний об обманчивости и непостоянстве земных благ и вдруг, почувствовав у себя на глазах слезу, поспешил понюхать табаку, вероятно для того, чтобы обмануть меня насчет причины, заставившей его прослезиться... Он употреблял русский зеленый табак, а известно, что это растение даже старцев заставляет проливать слезы, сквозь которые человеческий глаз глядит тупо и бессмысленно в течение нескольких мгновений. Я, разумеется, обошелся весьма бережно с стариком, спросил о здоровье его супруги и дочери и тотчас искусно направил разговор на любопытный вопрос о плодопеременном хозяйстве. Я был одет по-обыкновенному; но исполнявшее меня чувство мягкого приличия и кроткой снисходительности доставляло мне ощущение праздничное и свежее, словно на мне был белый жилет и белый галстух. Одно меня волновало: мысль о свидании с Лизой... Ожогин наконец сам предложил повести меня к своей жене. Эта добрая, но глупая женщина, увидав меня, сперва сконфузилась страшно; но мозг ее не был способен сохранить долго одно и то же впечатление, и потому она скоро успокоилась. Наконец я увидал Лизу... Она вошла в комнату...

Я ожидал, что найду в ней пристыженную, раскаивающуюся грешницу, и уже наперед придал лицу своему самое ласковое, ободряющее выражение... К чему лгать? Я действительно любил ее и жаждал счастия простить ее, протянуть ей руку; но, к несказанному

моему удивлению, она, в ответ на мой значительный поклон, холодно рассмеялась, небрежно заметила: «А? это вы?» – и тотчас отвернулась от меня. Правда, смех ее мне показался принужденным и во всяком случае плохо шел к ее страшно похудевшему лицу... но все-таки я не ожидал такого приема... Я с изумлением смотрел на нее... какая перемена произошла в ней! Между прежним ребенком и этой женщиной не было ничего общего. Она как будто выросла, выпрямилась; все черты ее лица, особенно губы, словно определились... взгляд стал глубже, тверже и темнее. Я высидел у Ожогиных до обеда; она вставала, выходила из комнаты и возвращалась, спокойно отвечала на вопросы и с намерением не обращала на меня внимания. Она, я это видел, – она хотела дать мне почувствовать, что я не стою даже ее гнева, хотя чуть-чуть не убил ее любовника. Я наконец потерял терпение: ядовитый намек сорвался с губ моих... Она вздрогнула, быстро взглянула на меня, встала и, подойдя к окну, промолвила слегка дрожащим голосом: «Вы всё можете говорить, что вам угодно, но знайте, что я этого человека люблю, и всегда любить буду, и нисколько не считаю его виноватым предо мною, напротив...» Голос ее зазвенел, она остановилась... хотела было переломить себя, но не могла, залилась слезами и вышла вон из комнаты... Старики Ожогины смутились... Я пожал им обоим руки, вздохнул, вознес взоры горé и удалился.

Я слишком слаб, времени у меня остается слишком мало, я не в состоянии с прежнею подробностью описывать тот новый ряд мучительных соображений, твердых намерений и прочих плодов так называемой внутренней борьбы, которые возникли во мне после возобновления моего знакомства с Ожогиными. Я не сомневался в том, что Лиза все еще любит и долго будет любить князя... но, как человек присмиренный обстоятельствами и сам присмирившийся, я даже и не мечтал о ее любви: я желал только ее дружбы, желал добиться ее доверенности, ее уважения, которое, по уверению опытных людей, почитается надежнейшей опорой счастия в браке... К сожалению, я упускал из виду одно довольно важное обстоятельство, а именно то, что Лиза со дня дуэли меня возненавидела. Я узнал это слишком поздно. Я начал по-прежнему посещать дом Ожогиных. Кирилла Матвеич более чем когда-нибудь ласкал и холил меня. Я даже имею причины думать, что он в то время с удовольствием отдал бы свою

дочь за меня, хотя и незавидный был я жених: общественное мнение преследовало его и Лизу, а меня, напротив, превозносило до небес. Обращение Лизы со мной не изменялось: она большею частию молчала, повиновалась, когда ее просили кушать, не показывала никаких внешних знаков горя, но, со всем тем, таяла как свечка. Кирилле Матвеичу надобно отдать эту справедливость: он щадил ее всячески; старуха Ожогина только хохлилась, глядя на свое бедное дитятко. Одного человека Лиза не чуждалась, хотя и с ним не много говорила, а именно Бизьмёнкова. Старики Ожогины круто, даже грубо обращались с ним: они не могли простить ему его секундантства; но он продолжал ходить к ним, будто не замечая их немилости. Со мной он был очень холоден и – странное дело! – я словно его боялся. Это продолжалось около двух недель. Наконец я, после одной бессонной ночи, решился объясниться с Лизой, разоблачить перед ней мое сердце, сказать ей, что, несмотря на прошедшее, несмотря на всевозможные толки и сплетни, я почту себя слишком счастливым, если она удостоит меня своей руки, возвратит мне свое доверие. Я, право, не шутя воображал, что оказываю, как выражаются хрестоматии, несказанный пример великодушия и что она от одного изумления согласится. Во всяком случае, я хотел объясниться с ней и выйти наконец из неизвестности.

За домом Ожогиных находился довольно большой сад, оканчивавшийся липовой рощицей, заброшенной и заросшей. Посредине этой рощи возвышалась старинная беседка в китайском вкусе; бревенчатый забор отделял сад от глухого проулка. Лиза иногда по целым часам гуляла одна в этом саду. Кирилла Матвеич это знал и запретил ее беспокоить, следить за ней: пусть, дескать, горе в ней умается. Когда ее не находили в доме, стоило только позвонить перед обедом в колокольчик на крыльце, и она тотчас появлялась, с тем же упорным молчанием на губах и во взгляде, с каким-нибудь измятым листком в руке. Вот однажды, заметив, что ее не было в доме, я показал вид, что собираюсь уйти, простился с Кириллом Матвеичем, надел шляпу и вышел из передней на двор, а со двора на улицу, но тотчас же с необыкновенной быстротою шмыгнул назад в ворота и мимо кухни пробрался в сад. К счастию, никто меня не заметил. Не думая долго, я скорыми шагами вошел в рощу. Передо мной, на тропинке, стояла Лиза. Сердце во мне забилось сильно. Я остановился,

вздохнул глубоко и уже хотел было подойти к ней, как вдруг она, не оборачиваясь, подняла руку и стала прислушиваться... Из-за деревьев, в направлении проулка, ясно раздались два удара, словно кто стучал в забор. Лиза хлопнула в ладоши, послышался слабый скрип калитки, и из чащи вышел Бизьмёнков. Я проворно спрятался за дерево. Лиза молча обратилась к нему... Он молча взял ее под руку, и оба тихо пошли по дорожке. Я с изумлением глядел за ними. Они остановились, посмотрели кругом, исчезли было за кустами, появились снова и вошли наконец в беседку. Эта беседка была круглое, крошечное строеньице, с одной дверью и одним маленьким окном; посередине виднелся старый стол на одной ножке, поросший мелким зеленым мохом; два дощатых полинялых диванчика стояли по бокам, в некотором отдалении от сырых и потемневших стен. Здесь в необыкновенно жаркие дни, и то раз в год, и то в прежние времена, пивали чай. Дверь не затворялась вовсе, рама давно вывалилась из окна и, зацепившись одним углом, висела печально, как перешибенное птичье крыло. Я подкрался к беседке и осторожно взглянул сквозь скважину окна. Лиза сидела на одном из диванчиков, потупив голову; ее правая рука лежала у ней на коленях, левую держал Бизьмёнков в обеих своих руках. Он с участием глядел на нее.

– Как вы себя сегодня чувствуете? – спросил он ее вполголоса.

– Все так же, – возразила она, – ни хуже, ни лучше. Пустота, страшная пустота! – прибавила она, уныло подняв глаза.

Бизьмёнков ничего не отвечал ей.

– Как вы думаете, – продолжала она, – напишет мне он еще раз?

– Не думаю, Лизавета Кирилловна!

Она молчала.

– И в самом деле, о чем ему писать? Он сказал мне все в первом своем письме. Я не могла быть его женой; но я была счастлива... недолго... я была счастлива.

Бизьмёнков потупился.

– Ах, – продолжала она с живостью, – если б вы знали, как этот Чулкатурин мне противен... Мне все кажется, что я вижу на руках этого человека... его кровь. (Меня покоробило за моей скважиной.) Впрочем, – прибавила она задумчиво, – кто знает, может быть, без этого поединка... Ах, когда я увидела его раненого, я тотчас же почувствовала, что я вся была его.

– Чулкатурин вас любит, – заметил Бизьмёнков.

– Так что мне в том? разве мне нужна чья-нибудь любовь?.. – Она остановилась и медленно прибавила: – кроме вашей. Да, мой друг, ваша любовь мне необходима: без вас я бы погибла. Вы помогли мне перенести страшные минуты...

Она умолкла... Бизьмёнков начал с отеческой нежностью гладить ее по руке.

– Что делать, что делать, Лизавета Кирилловна! – повторил он несколько раз сряду.

– Да и теперь, – промолвила она глухо, – я бы, кажется, умерла без вас. Вы одни меня поддерживаете; притом вы мне его напоминаете... Ведь вы всё знали. Помните, как он был хорош в тот день... Но извините меня: вам, должно быть, тяжело...

– Говорите, говорите! Что вы! Бог с вами! – прервал ее Бизьмёнков.

Она стиснула ему руку.

– Вы очень добры, Бизьмёнков, – продолжала она, – вы добры, как ангел. Что делать! я чувствую, что я до гроба его любить буду. Я простила ему, я благодарна ему. Дай бог ему счастья! дай бог ему жену по сердцу! – И глаза ее наполнились слезами. – Лишь бы он не позабыл меня, лишь бы он хоть изредка вспоминал о своей Лизе... Выйдемте, – прибавила она после небольшого молчания.

Бизьмёнков поднес ее руку к своим губам.

– Я знаю, – заговорила она с жаром, – все меня теперь обвиняют, все бросают в меня каменьями. Пусть! Я бы все-таки не променяла своего несчастия на их счастие... нет! нет!.. Он недолго меня любил, но он любил меня! Он никогда меня не обманывал: он не говорил мне, что я буду его женой; я сама никогда не думала об этом. Один бедный папаша надеялся. И теперь я еще не совсем несчастна: мне остается воспоминание, и, как бы ни были страшны последствия... Мне душно здесь... здесь я в последний раз с ним виделась... Пойдемте на воздух.

Они встали. Я едва успел отскочить в сторону и спрятаться за толстую липу. Они вышли из беседки и, сколько я мог судить по шуму шагов, ушли в рощу. Не знаю, сколько я времени простоял, не двигаясь с места, погруженный в какое-то бессмысленное недоумение, как вдруг снова послышались шаги. Я встрепенулся и осторожно выглянул из моей засады. Бизьмёнков и Лиза возвращались по той же дорожке.

Оба были очень взволнованы, особенно Бизьмёнков. Он, казалось, плакал. Лиза остановилась, поглядела на него и явственно произнесла следующие слова: «Я согласна, Бизьмёнков. Я бы не согласилась, если бы вы только хотели спасти меня, вывести меня из страшного положения; но вы меня любите, вы всё знаете – и любите меня; я никогда не найду более надежного, верного друга. Я буду вашей женой».

Бизьмёнков поцеловал ей руку; она печально ему улыбнулась и пошла домой. Бизьмёнков бросился в чащу, а я отправился восвояси. Так как Бизьмёнков, вероятно, сказал Лизе именно то, что я намерен был ей сказать, и так как она отвечала ему именно то, что я бы желал услышать от нее, то мне нечего было более беспокоиться. Через две недели она вышла за него замуж. Старики Ожогины рады были всякому жениху.

Ну, скажите теперь, не лишний ли я человек? Не разыграл ли я во всей этой истории роль лишнего человека? Роль князя... о ней нечего и говорить; роль Бизьмёнкова также понятна... Но я? я-то к чему тут примешался?.. что за глупое пятое колесо в телеге!.. Ах, горько, горько мне!.. Да вот, как бурлаки говорят: «Еще разик, еще раз», – еще денек, другой, и мне уже ни горько не будет, ни сладко.

31 марта

Плохо. Я пишу эти строки в постели. Со вчерашнего вечера погода вдруг переменилась. Сегодня жарко, почти летний день. Все тает, валится, течет. В воздухе пахнет разрытой землей: тяжелый, сильный, душный запах. Пар подымается отовсюду. Солнце так и бьет, так и разит. Плохо мне. Я чувствую, что разлагаюсь.

Я хотел написать свой дневник, и вместо того что я сделал? Рассказал один случай из моей жизни. Я разболтался, уснувшие воспоминания пробудились и увлекли меня. Я писал не торопясь, подробно, словно мне еще предстояли годы; а теперь вот и некогда продолжать. Смерть, смерть идет. Мне уже слышится ее грозное crescendo...[5] Пора... Пора!..

Да и что за беда! Не все ли равно, что бы я ни рассказал? В виду смерти исчезают последние земные суетности. Я чувствую, что утихаю; я становлюсь проще, яснее. Поздно я хватился за ум!.. Странное дело! я утихаю – точно, и вместе с тем... жутко мне. Да, мне жутко. До половины наклоненный над безмолвной, зияющей бездной, я содрогаюсь, отворачиваюсь, с жадным вниманием осматриваю все кругом. Всякий предмет мне вдвойне дорог. Я не нагляжусь на мою бедную, невеселую комнату, прощаюсь с каждым пятнышком на моих стенах! Насыщайтесь в последний раз, глаза мои! Жизнь удаляется; она ровно и тихо бежит от меня прочь, как берег от взоров мореходца. Старое, желтое лицо моей няни, повязанное темным платком, шипящий самовар на столе, горшок ерани перед окном и ты, мой бедный пес Трезор, перо, которым я пишу эти строки, собственная рука моя, я вижу вас теперь... вот вы, вот... Неужели же... может быть, сегодня... я никогда более не увижу вас? Тяжело живому существу расставаться с жизнью! Что ты ластишься ко мне, бедная собака? что прислоняешься грудью к постели, судорожно поджимая свой хвост и не сводя с меня своих добрых, грустных глаз? Или тебе жаль меня? или ты уже чуешь, что хозяина твоего скоро не станет? Ах, если б я мог так же пройти мыслью по всем моим воспоминаниям, как прохожу глазами по всем предметам моей комнаты! Я знаю, что эти

воспоминания невеселы и незначительны, да других у меня нет. Пустота, страшная пустота! как говорила Лиза.

О боже мой, боже мой! Я вот умираю... Сердце, способное и готовое любить, скоро перестанет биться... И неужели же оно затихнет навсегда, не изведав ни разу счастия, не расширясь ни разу под сладостным бременем радости? Увы! это невозможно, невозможно, я знаю... Если б по крайней мере теперь, перед смертью – ведь смерть все-таки святое дело, ведь она возвышает всякое существо, – если б какой-нибудь милый, грустный, дружеский голос пропел надо мною прощальную песнь, песнь о собственном моем горе, я бы, может быть, помирился с ним. Но умереть глухо, глупо...

Я, кажется, начинаю бредить.

Прощай, жизнь, прощай, мой сад, и вы, мои липы! Когда придет лето, смотрите не забудьте сверху донизу покрыться цветами... И пусть хорошо будет людям лежать в вашей пахучей тени, на свежей траве, под лепечущий говор ваших листьев, слегка возмущенных ветром. Прощайте, прощайте! Прощай всё и навсегда!

Прощай, Лиза! Я написал эти два слова – и чуть-чуть не засмеялся. Это восклицание мне кажется книжным. Я как будто сочиняю чувствительную повесть или оканчиваю отчаянное письмо...

Завтра первое апреля. Неужели я умру завтра? Это было бы как-то даже неприлично. А впрочем, оно ко мне идет...

Уж как же доктор лотошил сегодня!..

1 апреля

Кончено... Жизнь кончена. Я точно умру сегодня. На дворе жарко... почти душно... или уже грудь моя отказывается дышать? Моя маленькая комедия разыграна. Занавес падает.

Уничтожаясь, я перестаю быть лишним...

Ах, как это солнце ярко! Эти могучие лучи дышат вечностью...

Прощай, Терентьевна!.. Сегодня поутру она, сидя у окна, всплакнула... может быть, обо мне... а может быть, и о том, что ей самой скоро придется умереть. Я взял с нее слово не «пришибить» Трезора.

Мне тяжело писать... бросаю перо... Пора! Смерть уже не приближается с возрастающим громом, как карета ночью по мостовой: она здесь, она порхает вокруг меня, как то легкое дуновение, от которого поднялись дыбом волосы у пророка...

Я умираю... Живите, живые!

> И пусть у гробового входа
> Младая будет жизнь играть,
> И равнодушная природа
> Красою вечною сиять!

Примечание издателя. Под этой последней строкой находится профиль головы с большим хохлом и усами, с глазом en face и лучеобразными ресницами; а под головой кто-то написал следующие слова:

> Сђю рукопись. Читалъ И Содђржаніе Онной Нђ Одобрилъ Пђтръ Зудотђшинъ М М М М Милостивый Государь Пђтръ Зудотђшинъ. Милостивый Государь мой.

Но так как почерк этих строк нисколько не походил на почерк, которым написана остальная часть тетради, то издатель и почитает себя вправе заключить, что вышеупомянутые строки прибавлены были

впоследствии другим лицом, тем более что до сведения его (издателя) дошло, что г-н Чулкатурин действительно умер в ночь с 1 на 2 апреля 18.. года, в родовом своем поместье Овечьи Воды.

---

notes

Примечания

1

Сердце, сердце мое, почему ты так печально? Что тебя так огорчает? Ведь в чужой стране прекрасно. Сердце, сердце мое, чего же ты еще хочешь? *(нем.)*

2

«Жасминная» *(фр.)*.

3

Доверенная *(фр.)*.

4

Настоящий вельможа *(фр.)*.

5

Нарастание *(ит.)*.